

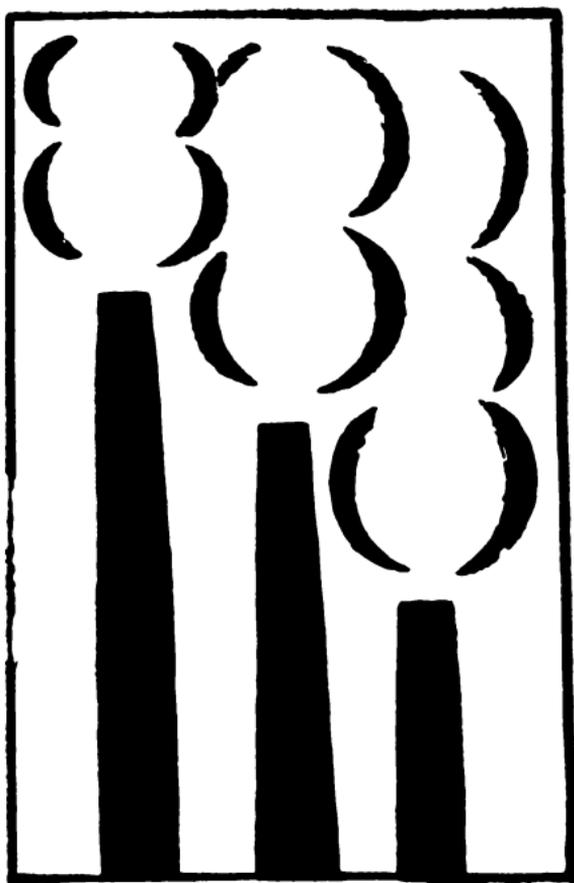
А. ГАГТЕВ



ПОЭЗИЯ
РАБОЧЕГО
УДАРА

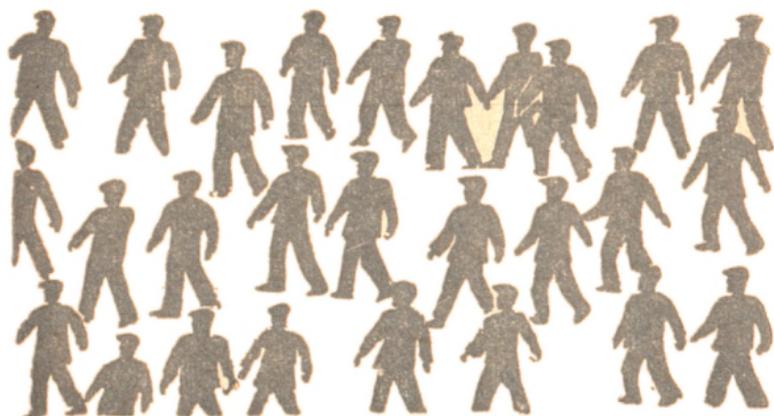


Atkins



ATAenus

**АЛЕКСЕЙ ГАСТЕВ
ПОЭЗИЯ**



РАБОЧЕГО



УДАРА

**СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1964**

«ВОЛЕВОЕ СЛОВО»

Революция. Поэзия. Производство.

Три главных дела, три координаты, определившие жизнь, творчество, деятельность Алексея Капитоновича Гастева. Это не отдельные стороны: тесно связавшись, они стали одной человеческой судьбой.

Восемнадцатилетним юношей он вступает в РСДРП (родился в 1882 году в Суздале). Московский учительский институт. Окончить не удалось — исключили за организацию студенческой демонстрации. И — лишения, скитания по тюрьмам. Обвинение в пропаганде среди рабочих. Приговор — три года Вологодской губернии. Из ссылки удается бежать за границу, в Париж. В 1905 году возвращается в Россию, работает в большевистских организациях Ярославля, Иваново-Вознесенска, Костромы. Сохранилось письмо Иванова (партийная кличка Гастева) о работе Костромской организации с припиской: «Для ЦО (для тов. Ленина)»¹

Гастев — делегат IV (Стокгольмского) съезда РСДРП. И снова арест, Бутырка, ссылка на три

¹ Центральный партархив Института марксизма-ленинизма.

года, побег за границу и возвращение в Петербург. С 1907 года — участие в профессиональном рабочем движении. В 1911—1912 годы — он опять в Париже, сотрудничает — вместе с А. Луначарским, П. Бессалько, Ф. Калининим — в «Лиге пролетарской культуры». Вернувшись в Петербург снова, пишет для большевистских изданий, для «Правды».

1913 — год напряженной литературной работы. Многие из того, что написано тогда, получит известность только после Октября.

Революция приносит А. Гастеву славу как писателю. Вышедшая в начале 1918 года книга «Поэзия рабочего удара» выдержала шесть изданий. Рассказы, стихотворения в прозе много раз перепечатываются в пролеткультовских и других изданиях, с успехом исполняются на рабочих и красноармейских вечерах, инсценируются для театральных постановок¹.

1919 год — Гастев возглавляет «Совет искусств» на Украине, организует «школу социально-инженерных наук» — зародыш будущего ЦИТа (Центрального института труда). В 1920 году он создает ЦИТ. По его собственным словам, «безоглядно

¹ Вот газетная заметка: «С 4 марта открываются художественные вечера в Малой студии искусств в Пролеткульте. Программа первого вечера: 1. Доклад о творчестве тов. Гастева, певца стали и машины. 2. Доклад о сборнике его произведений «Поэзия рабочего удара». 3. Иллюстрация произведений тов. Гастева артистическими силами Пролеткульта, при участии автора. 4. Инсценировка поэмы тов. Гастева «Башня». 5. Дискуссии. 6. Музыкально-вокальная часть» («Красная газета», Петроград, 23 февраля 1918 г.).

ушел» в научную перестройку и рационализацию производства.

Институт он называет «своим последним художественным произведением».

Ленин поддержал его начинания, вызвал к себе.

«Это было 3 июня 1921 года, — вспоминает позднее А. Гастев. — Я был вызван к часу дня. Еще проходя через приемную Совнаркома, я увидел, что на стене было вывешено «Как надо работать» (цитовская памятка). В кабинете ровно в час Владимир Ильич уже ждал. В первый же момент он буквально облил своим радушием, реальную теплоту которого многие и не знают...

...Владимир Ильич припомнил наши встречи, которые предшествовали настоящему разговору, и указывал, что вопросы организации труда это есть самое главное, которое нужно теперь проводить, а потом начал говорить о том, что дело надо обставить хорошо, что условия для работы надо создать приличные, что оборудовать нужно так, как это нужно для Советской трудовой республики. И в то же время говорил, что неладка в хозяйстве вопиющая...

...Уходя, Владимир Ильич останавливал и говорил, что если встретятся какие-нибудь препятствия, то обязательно «черкнуть», что если бы случилось, что он где-нибудь занят, если бы случилось, что на заседании, то надо тогда «маленькую записку в два слова» передать, и он сейчас же на этой записке ответит.

Однако после этого свидания я не решался беспокоить мелочами, но с тех пор, во всяком случае, я всегда чувствовал, что дело, за которое

я взялся, находится в поле зрения этого беспримерного человека, и это настроение давало силы, уже не встречаясь с ним, даже и не ища этих встреч, знать, что этим делом нельзя шутить, а его нужно делать»¹.

Наряду с руководством ЦИТа (к пятилетию института Гастева награждают орденом Красного Знамени — «За исключительную энергию и преданность делу»), он работает председателем Комитета стандартизации при СТО, занимается вопросами обороны, авиационной промышленности.

В 1938 году вся эта деятельность, многогранная и целеустремленная, полная энергии, исканий, выдумки, горения, энтузиазма, — трагически обрывается.

Сейчас, после перерыва в несколько десятилетий, А. Гастев снова встречается с читателем².

Рождение нового мира, революционная перестройка, одновременно поэтически возвышенная и конструкторски деловая, — вот главная, далеко не только литературная тема творчества Гастева.

Мы читаем вещи, написанные за десятилетие с небольшим (с 1913 по 1924 год) — за время, когда мир был разрушен «до основания», а затем воздвигался заново. Нам открывается связь между всем, что писал А. Гастев, и революцией, приход

¹ Журн. «Организация труда» ЦИТ ВЦСПС, 1924, № 1, стр. 11—12.

² Кроме наиболее значительных произведений из «Поэзии рабочего удара» в настоящее издание включены и некоторые публицистические статьи А. Гастева.

которой он возвестил в словах, как будто произнесенных впервые:

«Эпоха, равной которой еще не было от создания мира, открылась.

Столбы, подпиравшие старые горизонты верований, надежд, красоты, раздвинулись; вместе с военным и революционным ураганом ринулись водопады новых понятий, вереницы новых слов закрутились над дымом, кровью и радостью революций»¹.

Вот что осветило писательский путь Гастева: сначала ожидание революционной бури — активное, действенное, затем — служение ей, пропаганда, сознательная установка на то, чтобы перевести силу, мощь, энергию урагана в повседневную практическую работу.

Он начал писать еще в 1904 году. Первый рассказ о ссыльных «За стеной» был напечатан в ярославской газете «Северный край» под псевдонимом И. Дозоров.

К тому же времени относится рассказ «Проклятый вопрос», изданный автором в Женеве отдельной книжечкой под псевдонимом А. Одинокий².

Трудно узнать будущего автора «Поэзии рабочего удара» в этом юношески наивном произведении, полном «трепетно-сладостных предчувствий» и «смутных порывов».

Герой рассказа Василий, рабочий, революцио-

¹ Воззвание Всеукраинского совета искусств, написанное А. Гастевым.

² Хранится в Музее редкой книги Всесоюзной библиотеки имени Ленина.

нер, бьется над «проклятым вопросом» — о любви, об отношении к женщине. Его одолевают грешные желания и помыслы, он страдает, мучается, мечтает о подлинной любви, о «нравственной и душевной близости», старается победить разлад «между страстью и сознанием».

При всей несамостоятельности рассказа чувствуется в нем и нечто не совсем обычное: особенная серьезность интонации, авторская поглощенность, сосредоточенность вокруг одной «проклятой» мысли: как сделать, чтобы у человека, борющегося за новый мир, и душевный строй был начисто обновленным, как ему стать «выше своей страсти».

А. Гастев начинает как писатель дважды — в 1904 году и в 1913-м. Не случайно и та и другая дата связаны с предреволюционным подъемом, ощущением кануна. В предисловии к пятому изданию своей книги А. Гастев скажет о том «беспокойном и романтическом времени, которое почувствовалось в 1912 и 1913 годах среди русского пролетариата». Находясь в петроградской тюрьме, он не чувствует себя наглухо отгороженным от мира, слышит «тот революционный вал, который вызревал на улицах». Писать приходилось на чайных обертках, бумажных обрывках. Некоторые вещи в тюрьме и на этапах погибли безвозвратно.

Десять лет со времени первого литературного дебюта не прошли даром. Перед нами уже не восторженный юноша, а человек близко, не из вторых рук знающий рабочую жизнь, рабочие интересы, быт, настроения. Если раньше, в том же «Проклятом вопросе», автор романтически «вос-

парял» над реальностью, то теперь он, наоборот, «приземлен» к конкретной обстановке на заводе, на фабрике, в трамвайном парке, в рабочем городке. Революция еще не пришла сюда, но она уже предощущается во всем — в проклятиях мальчика на побегушках («Ванюша»), в ненависти к забастовщику-дезертиру («Штрейкбрехер»), в глухом и мрачном протесте, который рождается и растет в молчаливой рабочей массе («В трамвайном парке»), в многолюдной толпе, двинувшейся с музыкой и боевой песней («Весна в рабочем городке»).

Автор этих рассказов умеет живо очертить фигуры забастовщиков, мастеров, полицейских, хозяев, передать многоголосый шум толпы, резкие выкрики, характерные слова, выражения, обороты рабочего человека. А главное — передать атмосферу происходящего, скрыто назревающее недовольство, растущий гул — все, что находит выход в действии, в демонстрации, в первых массовых выступлениях.

«Толпа сама преображалась, сама воскресала и хлопала своим восторгам, своей душе, своим надеждам» («Весна в рабочем городке»).

В этих и других строках А. Гастев прорывается сквозь «рабочее бытописание». Как видим, он не отказался от романтики, но идет к ней другим, более трудным путем.

В то же время, наряду с прозаическими (и нередко еще подчеркнуто прозаизированными) вещами А. Гастев пробует себя в стихотворном жанре. Интересно: так же как в «чистой» прозе, он не находит себя и в «чистой» поэзии. В таких, например, строках:

В далях выплывут стремнины:
Бег в них бешеный прерви.
На жемчужных ты вершинах
Взгляд стальной останови —

мало «гастевского». Оно, это индивидуально-неповторимое начало, уже не похожее на привычные литературные образцы, рождается именно на пересечении поэзии и прозы, в жанре, который рецензенты А. Гастева будут потом называть «стихопрозой».

Думается, горьковский «Буревестник» не прошел для него бесследно. В сплаве стиха и прозы, в свободно льющейся речи, лишенной строгого размера и все же внутренне организованной, ритмически «пульсирующей», приподнятой, гиперболически смелой, дерзкой, вызывающей, — и суждено было ярче всего проявиться дарованию А. Гастева.

Перечитайте подряд рассказ «В трамвайном парке» и «Звоны».

«И вдруг ворвались через двери и окна убогой хибарки с гамом неслышанным, с шумом вбежали весенние новые звоны...»

Раньше Гастев описывал мастерские, заводские дворы, кривые, темные улицы, «убогие хибарки». Теперь в повествование ворвалось что-то новое, звонкое, «неслышанное». Слова как будто перестроились, стали стремительными, обрели энергию, вместо прежней, привычно повествовательной манеры зазвучала новая, взволнованная интонация:

«Нас ничто не страшит: мы пути по пустыням, по дебрям проложим!»

По дороге — река... Так мы вплавь! По саже-

ням... отмахивать будем и гребнистые волны разрежем.

Попадутся леса... Мы понижем и лес своим бешеным маршем!

Встретятся горы... До вздохов последних, до самых отчаянных рисков к вершинам пойдём.

Дух, тон, ритм книги точно передавало название — «Поэзия рабочего удара». Это — беспокойная, динамичная, атакующая книга. Слова в ней как будто вышли на широкий простор, построились в строки, похожие на стихи.

Резко раздвинулись рамки изображения. Прежде, например, Гастев описывал линии трамвайных путей одного парка. Теперь — воспекает «тяжелые, крепкие рельсы», которые кругом опоясали всю планету. Ими человек приручил землю, в них воплощена «стальная, прокованная воля», а завтра они будут подняты и нацелятся в бездонные пространства, к «соседним, пока не разгаданным, чуждым планетам». Характерно это «пока», полное уверенности, что гордо взовется над миром «первое чудо вселенной, бесстрашный работник — творец-человек» («Рельсы»).

Все как будто увидено сквозь гигантское увеличительное стекло. Предметы укрупнены, а дали завтрашнего приближены.

Не обычные гудки на фабричных окраинах, а песня будущего, несущая миру весть о рабочем единстве.

Башня — не простое бетонное сооружение, а сама мысль, одевшаяся железом и взметнувшаяся к небу.

Кран — «поэма о металле», могучее стальное

чудище, которое поднимает не обыкновенные грузы, а горные кряжи и легко кидает их в болота.

А в произведениях, написанных в годы Октября, Миссисипи обнимается с Волгой и запросто переговариваются планеты:

«— Алло, кто у телефона?

— Земля; это Марс?

— У аппарата Марс. Нельзя ли легче?

... — Возможно, что мы переключим орбиты и завернем к вам».

Критики, восторгаясь смелыми образами-«конструкциями» Гастева, порой упрекали его за воспевание безличного «железного царства». Но железо у него не бездушно. Огромный кран, оказывается, — «с глазами и сердцем, с душой и мыслями».

Гастев сам смеется над теми, кто уверяет, что «машина холодна и бесстрашна» («Балки»), кто «продолжает на все лады варьировать такие слова, как машина, железо, сталь».

В первых опытах его «стихопрозы» давала себя знать риторичность, излишняя восклицательность. Видимо почувствовав это, он стремится сделать повествование предельно сжатым, собранным, ударным. В произведениях, включенных в раздел «Ворота земли», написанных «во время революции, под гром событий», фразы становятся короче и энергичней, звучат более уверенно, сжато, повелительно:

«Оратор, замолкни.

Певучие легенды, застыньте.

Ой, послушаем, —

Заговорят возведенные нами домны.

Запоют вознесенные нами балки».

Это «Оратор, замолкни» сродни известным словам Маяковского, сказанным в ту же пору:

Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.

У Гастева говорит не оружие, а орудие, говорят и поют домны и балки, маховики и колеса — совсем как живые существа.

Не просто железо — «действующее лицо» его поэзии, но железо, ставшее как будто продолжением рук, ума и воли человека.

«Включите все, что есть, руки, рычаги, мысли, песни, взрывы, жару, непреклонность.

И — ну!
И — еще!
Невиданный чудище — динамо.
Кованый, грузный.

Миллионы щупалец, цистерны, башни, печи, синие блузы...»

Гастев чувствовал конфликты времени. Он ничего не хочет скрывать, приглаживать. Он говорит — да, будет еще плохо, победы на крови замешены.

Он пишет в своем замечательном произведении «Башня»:

«О иди же, гори, поднимайся еще и несись еще выше, вольнее, смелее!

Пусть будут еще катастрофы...

Впереди еще много могил, еще много падений.

Пусть же!

Все могилы под башней еще раз тяжелым бетоном зальются, подземные склепы сплетутся железом, и на городе смерти ты бесстрашно несишься.

О, иди,

И гори,

Пробивай своим шпилем высоты,

Ты, наш дерзостный башенный мир!»

И это не риторика, а ощущение пафоса и трагедии. Он говорит, что впереди еще много трагедий, трудностей; мы знаем, как он был прав, как много жертв — нужных и ненужных — пришлось принести строителям нового мира.

В желании «спрессовать» поэтическое слово А. Гастев доходит до предела и даже — переходит этот предел.

«Пачка ордеров» (1921) уже сознательно строится как перечень деловых распоряжений, «нарядов».

«В читке не должно быть экспрессии, — предупреждал автор в предисловии, — пафоса, ложно-классической приподнятости и ударных патетических мест».

Поиски нового стиля, свободного от всякой литературной «инерции», сближали А. Гастева с Маяковским. В первом номере журнала «Леф» (1923) «Пачка ордеров» была встречена одобрительно. Автор рецензии Б. Арватов ставил эту книжку в связь с общей «революцией в искусстве», с Маяковским, который «вбирает в свои произведения язык улицы, ораторский и разговорный язык».

Книга Гастева для него — один из примеров начавшегося уничтожения «вековой грани между искусством и жизнью».

А между тем сам Гастев — уже во власти новых идей, увлечен ЦИТОм, научной перестройкой труда.

Начало двадцатых годов — пора переломная для всей нашей литературы: от романтики боев и штурмов она поворачивалась к рабочим будням. Для некоторых поэтов этот переход оказывался не только тяжелым, мучительным, но и невозможным. Они не смогли найти себя в новых условиях.

Имя Гастева связывалось в ту пору именно с первым, «ураганным» периодом революции.

«Донельзя кричащим недостатком пролетарской поэзии, — писал Н. Осинский, — является то, что она не воспела того важнейшего, что делал четыре года рабочий класс в тылу всех фронтов: его строительной работы. Она занималась великими заводами будущего, международными рельсовыми и воздушными линиями будущего (А. Гастев), — а рабочий класс боролся с тифом, вошью, голодом, двумя третями больных паровозов и пр., он разбирает по кирпичу старое здание, закладывает фундамент нового во всех областях жизни, делает «чудеса в решете» — отнюдь не чудеса сталелитейной техники»¹.

Но когда писались эти строки — Гастев уже всецело поглощен не «воздушными линиями будущего», а самыми что ни на есть практическими во-

¹ Н. Осинский. Побег травы (Заметки читателя), III, Новая литература: поэзия. «Правда», 4 июля 1922 г.

просами «строительной работы», производственного обучения, культуры труда.

Раньше он был поэтом революции — бури. Теперь — поэт дела, рабочей хватки, выучки, умения. Раньше воспевал стихийную мощь и поэзию рабочего удара. Теперь — стремится проанализировать, разложить на составные части удар молота по наковальне, научить работающего разумным, экономным и целенаправленным движениям.

Эмблема ЦИТа, его рабочая марка изображала опускающийся молот в нескольких положениях — нечто вроде замедленной съемки удара; причем нарисовано это на фоне координат — удар оказывался как бы в сетке анализа.

То, чем Гастев занимался раньше, кажется ему теперь недостаточно важным, конкретным, деловым. После «Пачки ордеров» перед ним открывался путь к реальным, неметафорическим производственным приказам, советам, наставлениям.

В предисловии к шестому изданию «Поэзии рабочего удара» он уже говорит, что в век радио и авиации — «в это время придавать значение такой оранжерейной проблемке, как пролетарская литература, — просто зряшное, провинциальное дело».

Означало ли это безоговорочный переход от творчества к голому техницизму? Все было гораздо сложнее. В том же году, когда пишутся слова о «зряшном деле», А. Гастев участвует в Первом московском совещании работников Левого фронта искусств. Маяковский и он оказались тут близки друг другу в отстаивании художественного творчества — в противовес попыткам Н. Чужака и других «ультралевых» создать тяжеловесную организацию с центром, периферией, директивами и т. п.

В предисловии к шестому изданию Гастев называет инженерию — «самой высшей художественной мудростью», сводит труд художника — к работе математика, классификатора и аналитика. А на совещании, споря с Н. Чужаком, утверждает иное:

«Над вдохновением рано ставить крест. Это вдохновение каждый переживает. Мы поверили, что его нет, а на самом деле оно есть у всех, начиная с метельщика и кончая поэтом»¹.

Не суждено было Гастеву распрощаться с творчеством и вдохновением. Пропагандируя научные принципы труда, организации производства, говоря о такой, казалось бы, сухой и деловой материи, он не потерял своего личного тона, стиля, слова, остался поэтом.

«Война кончена.

Враг раздавлен.

Но победа еще впереди.

Надо победить еще культурой.

Взялся за гуж — будь дож...

...Вспомните, как из пустяков, разных ненужных балок, шнурков, из старых подошв делал свои знаменитые конструкции Эдисон, как Петр, утонувши в болоте по шею, заорал решительно: «Здесь будет город заложен».

Эдисон осветил весь мир, Петр на грязи сгробал город.

¹ Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской области, ф. 4416, № 325. Маяковский поддержал Гастева — см. его выступление: Полное собрание сочинений в тринадцати томах. М., 1959, т. XII, стр. 275—276.

Теперь этих Эдисонов у нас тысячи, Петры разбросаны всюду, целые полки Ломоносовых».

В короткой ударной строке, в слове, сказанном в упор, в грубоватых — «заорал», «сгрохал», в резко очерченном образе, в интонации призывной, решительной, не оставляющей читателя безучастным, — мы узнаём прежнего Гастева, автора «Поэзии рабочего удара».

С той же силой энтузиазма, с какой он славил переворот, теперь он зовет к практической работе — без молитв и заклинаний, без трескотни, без упования «ни на авось, ни на дождик, ни на дядюшек с Темзы».

В статье «Бьет час» он убежденно заявляет:

«Теперь можно заражать народы только стройками, только орудиями и только в крайнем случае голым словом, но и то непременно категоричным, волевым, как шприц входящим в ослабленное тело».

Волевое слово — удачное определение стиля самого Гастева — с его настороженностью против штампа, словесных излишеств и красот, с его смелыми поисками ударности, с его целеустремленностью мыслей и высказываний, отношением к литературе как к орудию переделки мира.

В том, что он писал и как писал, были свои перхлесты, упрощения, «загибы». Но главное — не в этих издержках. Рожденный революцией как писатель, работник, организатор, крепко связанный со своим временем, Гастев, перечитанный сегодня заново, радуется смелыми и неожиданными прорывами в наш сегодняшний день.

Еще до революции он рассказал о русских

«сталь-городах» будущего, в годы нищеты и разорения пророчески фантазировал о домах-громадах, об окнах, идущих «цельным, непрерывным стеклом от крыши и до самой земли», о подземных вокзалах, «искусственных озерах», о Сибири, которая стала чудом мировой науки и техники:

«Если нужно выразить научно-смелую идею, то всегда и всюду — в Европе и в Америке — говорят: «Это что-то... красноярское».

Дело не в том только, как много Гастев предугадал. Но и в том, что голос писателя — в лучших его вещах — звучит сильно, свежо, современно.

«Выстроим в городе две тысячи молодых мальчат и скажем:

— Хотите в тайгу?

Туда, где режут медведи, где мороз до 50 градусов и где на 500 верст нет жилья.

Но где есть графит, единственный в мире, железная руда, полная творческой крови, есть ключи с целебнейшей влагой.

Идите.

Найдите.

И...

Через год являйтесь с рапортом о победе».

«Волевое слово» Гастева — это «невероятная» фантазия и трезвый инженерский расчет, сплавленные воедино в пламени революции.

В «Кране» Гастев писал:

«И да! — мы исполним грезу первых мучеников мысли, загнанных пророков человеческой силы, великих певцов железа. Вавилонским строителям

через сто веков мы кричим: снова дышат огнем и дымом ваши порывы».

И можно сейчас, думая о Гастеве, о том, как разворачивается его творчество сегодня и как развернется завтра, обратиться к нему, к его товарищам по литературе его же словами:

— Снова дышат огнем и дымом ваши порывы.

3. Паперный

**ПОЭЗИЯ
РАБОЧЕГО
УДАРА**

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ

В первый раз под этим же заголовком вышла книжка в 1918 году в Петрограде. В нее вошли вещи, печатавшиеся еще в далекий довоенный период, в военный период, и только отчасти, в период революционный. В свое время они были напечатаны в различного рода рабочих, кооперативных, партийных и общественных журналах и газетах, где автор выступал под различными псевдонимами, большей частью под именем Дозорова. Книжка в сжатой конструкции выдержала несколько изданий как в Петрограде, так и в провинции. В значительно расширенном виде она вышла в 1919 году в Харькове под тем же заголовком, и сюда уже вошли многие вещи революционного периода. Совершенно без моего участия книга переведена на польский язык, части ее печатались на немецком языке, латышском, в международных эсперантистских журналах. Сам я не брал на себя инициативы переводов, как и инициативу изданий на русском языке.

Настоящему изданию автор придает значение литературной хроники. Эта хроника, может быть, поможет хорошенько сознать последнюю полосу рабочего движения в довоенный период и раскрыть те невысказываемые внутренние чаяния, которые у передовой части пролетариата соединяются с его движением.

Жизнь автора, проведенного все время до 1917 года на нелегальном положении, не давала возможности собрать все, что написано, и в настоящем издании автор не мог дать все вещи, разбросанные когда-то по различного рода изданиям.

Настоящая книжка разбита на 4 части: «Романтика», «Машина», «Ворота Земли» и «Слово под прессом».

В введении я даю «Мы растем из железа», вещь, написанную в 1914 году, во время работы на огромном заводе Сименс — Гальске в Петрограде. Это — завод, поражающий своим огромным монтажом, который производился в хорошо приспособленных больших сборочных залах и где конструктивная мощь завода была особенно демонстративна.

Большая часть «Романтики» написана до революции и даже до войны.

«Ванюша» — вещь, написанная в голодные, изнурительные месяцы 1913 года. Этот год характерен огромным количеством забастовок на петроградских заводах. Различные забастовочные моменты отражены в таких вещах, как «Штрейкбрехер», «Осенние тени». Рассказ «В трамвайном парке» написан в том же 1913 году. Содержанием для него

послужил действительный факт, происшедший в одном из трамвайных парков в 1908 году, где автор работал по трамвайному ремонту.

«Весна в рабочем городке» написана была в 1911 году в Париже и первый раз была читана в так называемой «Лиге пролетарской культуры», где в то время кроме автора работали товарищи Луначарский, Бессалько и Калинин. Оба последние умерли во время революции. Потеря этих двух товарищей до сих пор еще недостаточно оценена, а между тем если бы они жили, то так называемая пролетарская культура получила бы, во всяком случае, своеобразную обработку. «Весна в рабочем городке» началась было печатанием в газете «Правда» в 1913 году. Здесь отразилось то беспокойное и поистине романтическое время, которое почувствовалось в 1912 и 1913 годах среди русского пролетариата. К этому же времени относятся такие вещи, как «Гудок-сирена», «Эти дни», «Осенние тени», «Сильнее слов» и целый ряд мелких стихотворений. «Обеспечение старости» было напечатано в журнале «Вопросы страхования», который редактировался в свое время Малиновским. Вещь была законспирирована от Малиновского, у которого с автором были долгие недоразумения. Рассказ «Утренняя смена» отражал новую, идущую молодую смену на заводах, игравшую в целом ряде забастовок роль застрельщиков еще с конца 1890-х годов.

Рассказ «Иван Вавилов» отражает ту часть пролетариата, довольно значительную, которая характеризовалась особой неврастеничностью, приводившей ее часто в очень скандальное и, если можно так выразиться, порочное положение.

Большая часть мелких рассказов и стихотворений вполне отделана была в доме предварительного заключения и в арестном доме в Петрограде в 1913 году. Тюремная обстановка, при которой можно быть покойным, что «уже не арестуют», особенно располагала к тому, чтобы заниматься такой невинной работой, как художественная деятельность, хотя писать приходилось на чайных обертках и вообще случайных бумажных кусках. В тюремной суматохе и этапах несколько вещей погибли безвозвратно.

Здесь, в доме предварительного заключения, можно было все-таки слышать тот революционный вал, который назревал на улице. Его отражением явились: «Первая песня», «Первые лучи». «Романтика» завершается вещицей «Мы идем», помещенной в журнале «Металлист», экстренно конфискованном и получившем 129-ю статью.

Вторая часть — «Машина» — открывает новую завесу. Если первая часть «Романтика» вскрывала лирику рабочего движения, то «Машина» вскрывает лирику железа, лирику всего того, где пролетариат растет и где проводит лучшее время своей жизни. Первая вещь из этого отдела была напечатана в той же «Правде» в 1913 году. То были «Рельсы». За ней последовали «Гудки» и целый ряд других вещей. Особенно занимала автора «Башня», первые проблески которой зародились в Париже как при виде Эйфелевой башни, так и при виде огромных потрясающих построек, связанных с парижским метрополитеном. [Такая вещь, как «Сильнее слов», где описывается старик, прошедший около сорока лет у наждачного камня, явилась также в Париже и связана с совершенно реальным фак-

том.) Настоящую отделку все эти мелкие вещи получили уже в нарымской ссылке, где, несмотря на чрезвычайную бедность и дикость, были все-таки некоторые условия для известной отделки произведений. Однако очередное бегство из ссылки, новая нелегальная жизнь автора сделали то, что многие вещи погибли.

Сибирь на автора произвела также огромное впечатление, и там получилась возможность написать «Экспресс», в котором отразилось предчувствие новой революционной колонизации России. Чтобы написать эту вещь, нужно было предварительно просидеть, по счастливой случайности, в нарымской каталажке около трех месяцев и изучить как сибирскую литературу, так и послушать различного рода занятнейшие рассказы сибиряков.

Скитальческая жизнь, которая то бросала на Северный полюс, в страну каких-нибудь не видевших никогда ни спичек, ни зажигалки тунгузов, а потом сразу в омут парижской жизни или петроградский шум, — наложила свою печать на работу автора. В связи с этим, вполне естественно, возникли такие вещи, как «Мы всюду», «Моя жизнь».

Часть третья — «Ворота земли» — группирует уже синтетические вещи революционного периода, где идеология машины перемешана с идеологией социальной романтики. Здесь много вещей, написанных во время революции, под гром событий.

Четвертая часть включает в себе одну маленькую вещицу автора — «Пачку ордеров». Здесь я даю попытку разрешить словесную художествен-

ную проблему: отыскать своего рода новый короткий художественный репортаж, который диктуется всей современной жизнью, который стоит под знаком экономии слова.

И кажется так естественно, что после этой вещи можно переходить только или к революционной реконструкции самого слова, или же к его осложнению чисто техническим монтажом, будет ли это экран, будет ли это звуковой эффект. Вполне естественно, что автор на этом месте замолчал. Правда, молчание его объясняется и тем, что автор в это время по уши увяз в организационной работе, пожалуй, как раз в той, которая предreshалась и всей его художественной деятельностью. Но, во всяком случае, если мне когда-нибудь будет суждено взяться за художественное перо, рука уже не будет подыматься ни к романтике, ни к чистой машине, а будет разрешать только одну голую проблему репортажа и острого словесного воздействия.

Можно ли говорить о том, что здесь написано, что это пролетарская литература! Автора это не занимает. Автора занимает другое. Я думаю, что в конце концов художественное построение слова будет новой своеобразной ареной, куда надо идти вооруженным не только складом различного рода поэтических метафор, но с резцом конструктора и с ключом монтера и хронометром.

А в т о р

Москва, 1924

ПРЕДИСЛОВИЕ К ШЕСТОМУ ИЗДАНИЮ

Я все время получаю, особенно со времени выхода пятого издания, запросы о том, почему бросил заниматься художественной работой.

Теперь хочу воспользоваться случаем, чтобы ответить на этот вопрос и вместе с тем углубить самую постановку вопроса.

Я думаю, что ни для кого не секрет, как в царский период, во время ожесточенной борьбы с царизмом и капиталом, у очень многих революционеров часто просыпалось желание излить свое настроение в художественной форме.

Мне известен случай, что один экономист, пишущий свои произведения с исключительной академической серьезностью, писал самые отчаянные лирические стихи. Когда жизнь бросала нас так часто в тюрьмы и в ссылку, то в конце концов получалась совершенно естественная реакция: или на время уйти в какую-то другую область — до последней борьбы, или сделать отстой того настроения, которое получилось в этой борьбе. Мы, как революционеры, были загружены огромной работой. Но иногда мы как будто оставались не у дел и должны были браться за художественное перо. Отсюда страшная гипертрофия увлечения в этой литературе чем-то особенным, претензия на проведение новых путей, которые крестились пролетарскими, сверхпролетарскими и т. д.

Но как только грянула революция и открыла возможность работать непосредственно как организаторам и создателям нового, эта тенденция схлынула.

Повторяю, что я не из тех, которые занимались художественной литературой, потому что предназначали себе определенные художественные пути жизни, а, наоборот, — эти пути жизни нельзя было реализовать, и пришлось поэтому заняться художественной литературой.

Из этого отнюдь не значит, что я не имею определенных художественных взглядов и методов. Но как бы то ни было, в настоящее время я безоглядно ушел в совершенно другую область, и ЦИТ (Центральный Институт Труда) стал совершенно исключительной полосой жизни, затмевающей все какие бы то ни было начинания, которые приходилось часто бессистемно делать в течение жизни.

Работа в ЦИТе имеет свою фатальность, и она расширила возможности и необходимость работы до работы над государственным аппаратом.

Две идеи страшно занимают меня, которым, по мере сил, я хочу сообщить цельность. Первую идею я назову

биоэнергетикой.

Вторую идею я назову

оргаэнергетикой.

Заразить современного человека особой методикой к постоянному биологическому совершенствованию, биологическим починкам и переделкам — такова первая задача. Дать высшую организационную конденсацию, дать способы организационных прививок для всей жизни, выраженной в ее сложном, огромном комплексе, — задача вторая.

Мне пришлось быть в своей жизни очень долго революционером, слесарем-конструктором и

художником. И я пришел к убеждению, что самым высшим выражением в работе, которое, я убежден, было во всем том, что я делал, является инженерия.

Творческая инженерия, примененная как к организационной конструкторской работе, так и к работе по переделке человека, — является самой высшей научной и художественной мудростью. Самая высшая художественная мудрость заключается в беспощадном ноже

классификатора и аналитика.

Если какой-нибудь художник поднимается на высоту видения и оформления своего образа, то он предстает перед ним в виде восстающего из действительности, строго очерченного проповедника будущего. Если художник сумеет этой проповеди сообщить тонкую отделку и рельефность, если художник сумеет поднять ее из современной эмпирики до такой степени, что самая проповедь будет казаться высшей стадией художественного творчества, она будет граничить с такими утонченными возможностями, которые может открыть нам только математика.

Это — самая изящная из наук, какие только знал мир. Математик эту беспомощную эмпирику, с которой постоянно сталкивается беспомощный обыватель, абстрагирует до такой формы, что обывателю кажется, что эта математика его отрицает. И только в этой постановке, в этом направлении в разработке можно идти дальше. Вот почему в настоящее время мне в работе по созданию ЦИТа приходится с исключительной энергией работать над созданием так называемой

социально-инженерной машины,

в которой вижу как раз то, над чем пришлось работать в продолжение многих десятилетий как в художественной, так и в организационной и в революционной работе. Только три слова —

шаблон, направляющая и водитель, которые теоретически выражают общие законы кинематики, а практически означают азбуку каждой машины, — только эти законы мне кажутся в настоящий момент открывающими бесконечные горизонты. По мере своих сил я их прилагаю не только к созданию определенных организационных норм, но и к созданию выводов для реформирования,

биологического реформирования современного человека.

В той модели, над которой приходится сейчас работать, в том ЦИТе, который из ребенка уже превратился в юношу, мне думается, начнется как раз то

восстание конструкций

и то восстание человека, о котором намеками рассказано в этой книге, называющейся «Поэзией рабочего удара».

Будет ли этот «удар», будет ли этот «нажим», будет ли эта работа идти в области больших конструктивных задач или, наоборот, эта работа уйдет в глубины микрокосмоса, в глубины самых мелких величин как организации, так и биоэнергетики, все равно мне кажется, что на этой стадии Центральный институт труда, над которым приходится работать, — в одно и то же время есть научная конструкция и

высшая художественная легенда,

для которой пришлось пожертвовать всем тем, что пришлось делать до него.

Я опять-таки не задаюсь вопросом, как это будет называться: пролетарским или непролетарским. Здесь чрезвычайно много затасканных слов, как затасканных слов оказалось много в так называемой «НОТе». Я думаю, что если работать над трудом, то было бы жалким ханжеством работать над ним только в форме так называемой охраны труда, только в форме старания искоренять все то, что труд затрудняет, и принимать то, что труд облегчает. Наша методика, которую я назову «установочной»,

заключается в том, чтобы оперировать в самых глубинах пролетарского сознания, в котором уже несколько столетий бродит бес творчества, конструктивный интерес к тем машинам и механизмам, над которыми он проводит лучшие годы жизни.

Слишком много внимания уделено политике и общесоциальным вопросам, между тем как современный пролетариат силен своей определенной страстью к машине.

Своей бездонной привязанностью к механизму он представляет огромную опасность для всех тех, кто хочет повернуть колесо истории назад.

До сих пор продолжают споры относительно пролетарской литературы. Здесь, конечно, гораздо больше публицистики

об этой пролетарской литературе, чем самой пролетарской литературы. Публицистическая постановка вопросов по этому поводу кажется просто эфемерной. Целый ряд людей хочет выдавать раешник по бичеванию буржуазии и кулаков за так называемую

мую пролетарскую литературу. Другие находят выход и разрешение этого громадного вопроса в какой-то так называемой «простоте», опускающейся до стилистической демагогии. Третьи продолжают варьировать на все лады такие слова, как машина, железо, сталь...

Во всяком деле есть производители и потребители и жалкие имитаторы. Я, конечно, хочу идти только с производителями.

Я думаю, что современная эпоха требует не только так называемой пролетарской литературы, о которой можно было мечтать, сидя в царских тюрьмах и ссылках. Жизнь требует создания такого творческого метода, от которого пахло бы настоящим конструктивным мятежом со стороны берущего власть пролетариата.

И вообще, может быть, в век, когда не только с словом, а даже с мыслью так удачно спорит радио, когда аэроплан, захватив 200 пудов багажа, может основать город в любом пункте Северного полюса, когда время переходит в пространство и пространство во время, когда каждый мальчишка на любой машине может наяву увидеть, что такое абсцисса и что такое ордината, и может интуитивно, после занятий над ремонтом радиоаппарата понять, что значит теория Эйнштейна, в это время придавать значение такой оранжерейной проблемке, как пролетарская литература, — просто зряшное провинциальное дело.

Если кто прочтет эту книгу и станет назавтра хоть небольшим конструктивным мятежником — нашего полку прибыло.

А в т о р

Москва, 1925

МЫ РАСТЕМ ИЗ ЖЕЛЕЗА

Смотрите! — я стою среди них: станков, молотков, вагранок и горн и среди сотни товарищей.

Вверху железный кованый простор.

По сторонам идут балки и угольники.

Они поднимаются на десять сажен.

Загибаются справа и слева.

Соединяются стропилами в куполах и, как плечи великана, держат всю железную постройку.

Они стремительны, они размашисты, они сильны.

Они требуют еще большей силы.

Гляжу на них и выпрямляюсь.

В жилы льется новая железная кровь.

Я вырос еще.

У меня самого вырастают стальные плечи и безмерно сильные руки. Я слился с железом постройки.

Поднялся.

Выпираю плечами стропила, верхние балки, крышу.

Ноги мои еще на земле, но голова выше здания.

Я еще задыхаюсь от этих нечеловеческих усилий, а уже кричу:

— Слова прошу, товарищи, слова!

Железное эхо покрыло мои слова, вся постройка дрожит нетерпением. А я поднялся еще выше, я уже наравне с трубами.

И не рассказ, не речь, а только одно мое железное я прокричу:

«Победим мы!»



РОМАНТИКА

В ТРАМВАЙНОМ ПАРКЕ

I

— Эх, вы, не знаете, что значит жить! — выкликнул вдруг просветлевший студент мастерам.

— Ну-ка, ну-ка, — хором подзадоривали мастера и жались к столику конторки.

— Вот-с... — откашливался студент. — Вот... да. Мы теперь вот здесь, в этом проклятом трамвайном парке. Ну вот, слякоть, копоть. Бросайте все это, отряхнитесь, и катнемте, скажем, в «Яр».

— ...Т-то есть такие выплывут создания... что называется полет и забвение. Выходит на эстраду сама грация, не безобразная, не для купцов, как бывало, корова с выемем...

— Гм... — подмигивали мастера, — скажет Иван Васильевич.

Студент поправлял волосы, хлопотливо искал папиросу, радостно закуривал ее, вкусно гасил спичку и воодушевлялся.

— Виноват... минуточку... — сказал мастер. — Я крикну мастеровым, а то, черт их дери, собрались в канаву, курят, а начальник всегда как «жених в полнощи».

— Ер-рунда. Пусть появится, я его сейчас же тако-этакой анекдотницей угощу... Ум-моряю...

— Ну выручайте, выручайте, в случае.

— Надо бы сегодня пропустить что-нибудь, — входил в настроение мастер Малецкий. — Иван, — крикнул он в окно конторки, — сходи-ка за кипятком, смотри, не натолкнись на начальника: бери-ка и прихвати две сороковки.

II

Быстрой, злой тенью шел по линии трамвайных траншей начальник. В груди у него кипело желание настигнуть кого-либо из рабочих за разговором, за газетой, за баловством и пробрать. Пробрать кратко, выразительно, злостно, сквозь зубы. Только так он мог разрядить в себе всегда гнетущую его тоску, облегчить надлом больной, раненной развратом души. Особенно упоительна была для него молчащая жертва. Так глубоко он мог тогда пронзить чело-

века надругающимся взглядом, взглядом без слов, спросить о ничтожестве и бессилии и отдохнуть маленькой победой над жертвой.

Студент бросился со слепками бандажей прямо к начальнику, а Малецкий нырнул в ближний вагон, включил его и чуть-чуть трогал по рельсам.

— Василий Иванович, — закричал еще издали студент. — Замечательно!... И здравствуйте. З-замечательно точные снимки. Ручаюсь, с точностью до одной сотой дюйма. Эволюция сноски прослежена изумительно. Я льщу себя своим успехом.

Начальник вынул пенсне и рассматривал слепки, а студент, стоя вполуоборот к нему, подмигивал Малецкому. Малецкий громко сморкался, чтобы не рассмеяться.

— Знаете, — говорил многозначительно начальник, — я думаю, студент.

Малецкий не совсем был доволен этим разговором: начальник все же что-то поглядывал в глубину парка и злился. Надо было послать эти снимки в Мюнхен и в Нью-Йорк.

— О, мы этим создадим нашу репутацию, карьеру, — радовался сделать так, чтобы работа кипела и начальник не только бы не злился, но отступил перед общим гулом, стуком и звоном работы.

— На прокатку, — взвизгнул Малецкий. — Дежурные, к стрелке!

Среди рабочих в трамвайном парке было немало забитой и изголодавшейся

публики. Для боевых одиночек парк был временной проходной казармой, которую можно только посмотреть, проклясть и уйти.

Довольно было раздаться окрику Малецкого, как моментально с ручками от контроллеров бросились дежурные к вагонам. Их торопливость заразила других рабочих, началась какая-то свалка труда, дьявольская погоня за быстротой. И в общей суматохе выехали скорым ходом дежурные.

— Шевелись, шевелись, господа. Включать тише, бери ход смелее.

— Господин Малецкий, разрешите ехать по двое, иначе нельзя следить! — кричали на ходу дежурные.

— Поезжайте, поезжайте как есть. У нас всегда как на охоту, так собак кормить.

Начальник подходил со студентом к воротам.

— Куда, куда они? Куда они все едут к стрелке? Да ведь тут все вагоны поцарапают друг о друга на переезде.

— Василий Иванович, — кричал студент, — разрешите мне выработать инструкцию движения. Я недавно как раз сдавал проект...

— Бугель, бугель отведи! — вдруг заорал слесарю Малецкий, заорал так, точно его давили. — Прохоров, подтяни бугель, удержи: тут вилка ослабла.

— Идиоты, — уже ворчал начальник, пораженный опасениями Малецкого.

— Да Прохоров, черт, тебе же говорю, поднажми его веревкой-то.

Прохоров осторожно проехал закругление, потом включил мотор и, оставив ручку, подбежал к задней площадке, высунулся до пояса из левой входной двери и начал тянуть веревку бугеля.

В это время к переводу рельсов быстро выбежал вагон с другим дежурным слесарем — Минаевым.

Трудно было сказать, зацепит ли на стрелке один вагон за другой.

Малецкий на всякий случай закричал:
— Осторожнее! Краску-то, краску не царапай, не обнови вагон-то!

Но выбежал еще вагон, и трудно было остановить общую суматоху движения.

Малецкий еще раз крикнул:

— Не свороти лобовой брус, смекай!

Но было поздно.

Вагон Минаева врезался в вагон Прохорова, хряснуло что-то, ударился лобовой частью сначала в поручни, потом ерзнул по боку, смял моментально Прохорова, вырвал его за голову с задней площадки и бухнул на землю.

III

Минаев замер на месте, остолбенел, потом зашатался.

От сильного сопротивления в его вагоне загорелись провода, взвилось пламя, ток выключился — и вагон остановился.

А Прохоров, ляпнувшийся на землю, запутался в веревке бугеля, и его потащило по мостовой за вагоном. Оттянутый бугель уже не подавал в вагон тока, но Прохоров вместе с вагоном еще тащился сажен десять по инерции.

Вагон застрял и остановился уже у выхода из парка.

Как шальная, бросилась толпа из траншей, из вагонов, из мастерских. Нужно было пробежать сажен пятнадцать, но люди задыхались, точно бежали от опасности верст пять.

Первое время почти никто ничего не говорил.

Безумно, дико смотрела ошарашенная толпа.

Даже начальник и мастера слились и замешались в массе, и их ничто не выделяло в этом общем изумлении.

Студент первый нашел, что сказать.

— Господа, пульс, — высунулся он с вежливой улыбкой и подошел к распластанному на земле Прохорову.

— Господа, — суетился он, — последние удары... деятельность сердца понижается... Надо фельдшера... Телефонуйте...

Вдруг разбились оковы безмолвного удивления, из толпы вырвался Минаев и бросился к Прохорову. Осторожно, слегка тиснул он задней стороной кулака в грудь, и рука провалилась.

— Как вата, — испуганно прошептал он все еще изумленной толпе. — М?.. — спро-

сил он, как будто почудилось ему, что кто-то говорит против него.

— Ну да, я... я, конечно, дело... Я смял его, товарищи, я, господа.

— Не галди зря-то, — кто-то серьезно буркнул из толпы, — давай бери его в приемный покой.

— Господа, разойдитесь, — начал привычную речь начальник, немного отделившись от неожиданного впечатления. — Или нет, — перебил он себя, — или нет — идите, кто хорошо видел, два-три, в свидетели.

— Ну так и я, — крикнул Минаев.

— Идите и вы, — нехотя согласился начальник.

Подняли горячий труп Прохорова и понесли в приемную.

Там был фельдшер и околоточный надзиратель.

Фельдшер только махнул рукой и кивнул приятелю-околоточному, чтобы тот составлял полицейский протокол.

— Так, ваша фамилия — Минаев.

— Вот именно, точно, Минаев.

— Вы ехали и своим вагоном...

— Так что в суматохе, ваше благородие, — перебил околоточного подручный слесарь Васин, желая выгородить Минаева.

— Вас не спрашивают.

— Ну так, я смял, — сказал, как отрезал, Минаев. — Своего товарища убил я. Казнил, — уже совсем азартно заговорил Минаев, смотря на стоявшего рядом Малецкого.

Малецкий мял в руках фуражку.

— Вы спокойнее, — чуть-чуть приподнялся от протокола околоточный.

Но Минаев расхотелся:

— Мне бы, говорю, удержать себя, сказать: стой, трус паршивый, сдержи, сдержи, — нет пру, пру без останову, страха ради иудейска, и — бац. Так или нет, господин командир Малецкий?

Малецкий увидал в этом какое-то новое неожиданное наступление Минаева, испугался и начал его оправдывать:

— Позвольте объяснить, что когда я приказал ехать, то видел убийство Прохорова с левой стороны, а у нас правило: бугеля отдергивать — с правой.

— Вот, — кивал околоточный Минаеву.

— И вся сигнальная, — торопился показывать Малецкий, — вся служебная часть движения всегда должна находиться с правой.

— Слышите? — обращался околоточный к Минаеву, желая его немного обрадовать.

Минаев кидал взглядом от Малецкого к околоточному, точно желая поймать какой-то спрятанный, но хорошо построенный фокус.

Малецкий ерзал ногами по свежвыкрашенному полу; его глаза убегали от разъяренного, настаивающего взгляда Минаева.

Тоном мальчика, пойманного на мерзкой шалости, он заключал:

— И во всем печальном происшествии причина — сам потерпевший, Прохоров.

— Ну и к черту, и больше я вам не нужен, — процедил Минаев и направился к выходу.

Околоточный было привстал и хотел прикрикнуть на Минаева за грубость, но Малецкий махнул книзу рукой и как бы говорил: «Оставь его, не обращай внимания».

IV

Подручный Васин — друг Минаева — сразу почувствовал, что с товарищем начинается что-то недоброе, и кинулся за ним.

— А... ты? — пронзил его Минаев вопросом уже за дверями.

— Не расходись, парень, легче, побереги себя-то.

— Гм... Чтобы я стал себя беречь?

— Ну, ну. А выпей-ка, ей-богу... а?

— Вот именно скажу, что не желаю напиваться. Трезвый раскрошу весь мир в щепки.

— Полно-ка, полно.

Спускались ниже. Зашли под лестницу.

Минаев еще раз выразительно посмотрел на Васина, как будто азартно призывал его к удару.

— Али бей меня, расшибай. Не хочешь?

Он схватил, сгреб обеими руками кепку, рванул ее вместе с клоком волос, расставил ноги, налился весь горячей, отравлен-

ной кровью и бацнул, как тяжелый вековой груз, свою кепку на пол.

Она выдулась, приподнялась.

Васин унимал Минаева:

— Не шуми. Навредишь, ей-богу. Пожалей, все-таки ты, как-никак, с семьей.

И еще больше прожгли Минаева эти слова. Как будто нападал и расшибал дикую злобу, уже падшую, но пахнувшую противной, непонятной тупостью.

— А-а-р-р... — рычал он, припрыгивая, и топтал кепку.

Так унижить, мстить захотелось ему пронесшейся злобе жизни.

— Да ну, парнюга, Минай дорогой. Вспомни дружбу. Али я тебя невыручал. Идемка. Все-таки колоточный рядом... Заметут...

А Минаев свирепел и свирепел от этих слов.

— Ну еще!

Он снял с бешеной быстротой сапоги, взял их за голенища и изо всей силы хватил головками о дверной косяк.

— Ва-ли, бей! Лупи!

— Опять, опять дойдешь до ручки... — уж как-то бессильно урезонивал Васин Минаева.

А Минаев уже не кричал, а действовал:

— Сыпь! Уничтожай!

Васин чувствовал бессилье своих слов перед этим отчаянием и почти шепотом говорил про себя:

— И зачем я теперь в бога не верю. Все бы был не один, а с кем-нибудь вместе.

— А, как это? — уцепился вдруг за последнюю фразу уставший от своих ударов Минаев. — Ты думаешь, в небе написано?

И с желчью, скороговоркой, произнес:

— Больше, больше на небо смотри, выдумывай, мечтай о вере истинной, задирай башку-то, а в это время тебя вагон и приплющит. Нет, брат, я пошел бы в яму...

— Да пойдём-ка в мастерскую-то. Обувайся.

— Что? Хоть убей, я ручник в руку не возьму. Пойду в траншею. По-моему, знаешь, что мне пришло: уж если буйством взять нельзя, то хоть плачем, рыданием общим.

— Ну, опять понес. Будь покойнее. Заправляй портянку-то. Идем.

— Идем, идем. Только вот...

Он схватил Васина за рукав, остановил, как будто арестовывал его внимание.

— Вот падают они, их бьют. Каждый день. И через меня, и через других, и так. Вон третьего дня котел разорвало, али взрыв на Пороховых. Не в борьбе, не в восстании, а смяты люди на поганой, на работе подлой. И ну, что тут? — спрашивал он Васина.

И, не дождавшись ответа, он разряжался диким возгласом:

— Общий плач бы, мировой, большой поднять... Рыдание мировое...

И уж сам рыдал.

Васин вместо слов только жевал как-то своими побелевшими губами.

А Минаев не убеждал его, а лил ему расплавленную горем душу.

— Много ведь не оплачено, и оплачивать поздно: застывает рука, срывается удар, забывается обида. А зарыдать бы, загудеть теперь же, чтобы сердце сжалось бы у всех за горы трупов, за схороненную в ямах жизнь.

Чуть прогонялась слеза, и светлел Минаев.

— И-эх, разрыдались бы — и легкая родилась бы сила, сила громадная, доказанная. Не понимаешь меня?

— Понятно... О-очень, — отвечал застывшими губами Васин, — только куда же ты, Минай, милый?

— А в траншею. Я бы в клозет ушел сидеть да думать, да там людно, я в траншее схоронюсь. Пусти меня. Пусти меня. Не тянись ты. Отойди.

Минаев пошел тихой походкой в темное пристанище одинокой терзающей мысли.

Опускаясь и хоронился в черных глубинах холодных траншей человек, вдруг подумавший и затосковавший за весь мир, за все ужасы мира.

Кажется, что решит он там, разогнется, приподнимется, выйдет из темной ночи и, уже новый, полный сильных решений, скажет два слова, даже одно, одно только слово, и отклик боли, схороненной годами, пробежит у собравшихся сюда, под своды парка, мало наученных жизнью товарищей.

За десять минут до вечернего гудка снова в мастерских показался начальник. Он любил следить за рабочими в самые последние минуты: не моет ли кто-нибудь потихоньку руки, не переобувается ли?

Малецкий ужаснулся, когда увидел, что студент-практикант без спроса высшего начальства дал тормозной бригаде зеленого мыла, и теперь рабочие делили его по своим жестяным коробкам.

Малецкому надо было что-нибудь выдумать, чтобы скрыть это нарушение дисциплины. Он взял «книгу распоряжений», раскрыл текущие заметки и быстрым маршем направился к начальнику. Начальник очень любил эту книгу, просиживал с ней целые вечера и делал пометки о всех технических и дисциплинарных промахах мастеров и рабочих.

— Да, да, читайте-ка, — говорил он Малецкому. — Или идемте в конторку, заставьте конторщика.

Сели за стол.

Конторщик читал:

— «Сторож Власов выпустил вагон без пропуска...»

— Как! — вскипел начальник.

— Виноват, — с испуганной улыбкой привстал Малецкий, — есть объяснения.

— Ну?

Малецкий замер.

— Сторож заявляет, что в суматохе,

вследствие случая с Прохоровым, не заметил вагона.

Начальник снял пенсне, немного подумал. Тут только послышалось, как после затаенного дыхания Малецкий шумно набрал воздуха и сел.

Начальник надел пенсне, встряхнул волосы, решил и отрезал:

— Штраф. Сторож всегда должен быть на своем месте.

Малецкий дергал бородку, тихо и вкрадчиво прибавлял:

— У нас постоянно события, но зевать нельзя.

— Дальше, — приказывал начальник.

— «Гражданская жена Прохорова просит пособия на похороны...»

— Отказать, — рубил начальник и, глядя кверху, на электрическую лампочку, протяжно разъяснял: — Общественное управление... э... может считаться... э... только с законным браком... А еще что?

— «Мастер, господин Малецкий...» Это я... — жеманно конфузился мастер, встал и топтался на месте.

— Ну-те, ну-те, что такое? — оживился начальник.

— «...Мастер Малецкий обратил внимание на изгибы поручней во время катастрофы с Прохоровым и предлагает управлению систему гнущихся поручней». Да, да... — забрызгал слюной Малецкий, — я предлагаю поручни с пружинами: им не страшен никакой удар.

Начальник просиял и, видимо, отдыхал душою на светлом явлении жизни.

— Слушайте, Малецкий, вам не место здесь. Я вас буду рекомендовать в лабораторию изобретений. Вы себя здесь зарываете.

И сквозь дым папиросы он мечтательно протяжно командовал конторщику:

— Представить на повышение. Ну, всё?

— Никак нет. Еще есть.

— Ну, да что там?

— Слесарь Васин ездил по двору безо всякой на то надобности.

— Выговор и двухнедельное предупреждение, — уже совсем не задумываясь, диктовал начальник конторщику.

Загудел гудок, и черная толпа снялась и тронулась из трамвайных сараев.

— Ну, как у вас подъемки вагонов? — на ходу спрашивал начальник мастера.

Малецкий захлебывался от удовольствия и докладывал:

— Мы добились того, что при меньшем составе рабочих поднимаем вагонов в четыре раза больше, чем прежде.

— Да, вот это система учета. Она великолепна.

— Да, да. Это научно, это экспериментально, — вставлял подходивший студент. — Знаете, это почти по Тейлору.

— Слушайте, Малецкий, у вас великолепное техническое чутье. Вы какое получили образование? — спрашивал начальник.

VI

Толпа рабочих задержалась на дворе. А сторож урезонивал ее: «Господа, проходите, не задерживайтесь. Вы, вестимо, что за товарища, а нас штрафуют».

Начальник издали смотрел на черную толпу людей и рассеянно обратился к Малецкому:

— А все-таки этот случай...

И не закончил фразы. Задумался.

Малецкий сочувствовал этому намернувшемуся раздумью начальника и просил:

— Передайте «от лица, пожелавшего остаться неизвестным».

— Догадаются, догадаются все же... — льстил самолюбию начальника Малецкий.

— Ну пусть, пусть, — вздыхал начальник. — Я ведь в конце концов скрывать не буду: всякое несчастье меня трогает.

VII

День улыбался, день стоял, день бурлил весенним молодым задором.

Земля наряжалась. В воздухе слышны были песни, кверху поднимались молодые земные гулы, с неба лилось торжество, миллионы быстрых лучей новой верхней радостью венчали землю.

В душных клетках-корпусах, как всегда закованные на всю жизнь нуждой и заботой, тянули трудовую повинность рабочие.

А в верхних этажах жизни послышался говор о природе, здоровье, радости, игре и красоте.

— Да, да... — говорил начальник.

— Надо бы как-нибудь...

— Чего?

— А эту... ее-то...

— Кого?

— А эту... сожительницу... устроить... убитого-то сожительницу...

— Слушайте, да мы же можем ей действительно многое посоветовать и помочь.

И начальник энергично нажал кнопку.

Вбежал швейцар.

— Федор, вы не слышали о сожительнице Прохорова, убитого?

— Так точно. Только что он не женатый, извините, он, живши с «самой»...

— Я спрашиваю: где она?

— В «Листке» еще было прописано: так что бросившись самовольно под поезд.

— Что?! Покончила с собой?

— То есть, ваше высококорodie, поезд по ней прошедши.

— Да что же это она?

— А по глупости, ваше высококорodie. Дело, конечно, женское.

— А ребенок?

— И ребенок погиб, при ей бывши.

Была минута молчания, и как будто преклонение перед горем побеждало не одну черствую душу, но начальник уже справился и наставлял швейцара:

— Не «при ей» надо говорить, а «при ней». Ступай.

От ворот доносились крики сторожа к вагоновожатым:

— Пропуск. Предъявляй пропуск.

Начальник мягко улыбался этому порядку, и на минуту в душе его опять пронеслась легкая радость удовлетворения.

VIII

— Это что же? — вдруг спросил студент, заслышав в коридоре страшный шум.

— А?! — вскочил, прислушиваясь, начальник.

— Возня в коридоре, Василий Иванович...

— Драка...

— Вр-решь! — слышалось из коридора. — Не такие цепи рвали.

Это Минаев проталкивал стену из трех швейцаров, загородивших ему дорогу в кабинет начальника.

Начальник вскочил, отворил дверь:

— Что тут такое?

Швейцары несколько отступили, чтобы объяснить начальнику, в чем дело, но Минаев рванулся через ослабевшую живую цепь людей и ринулся прямо в кабинет.

Начальник попятился в кабинет и рухнул в мягкое кресло.

Минаев, покрывая весь шум своим сухим голосом, спросил начальника:

— Глядеть в глаза можешь?!

Начальник чуть разогнулся за креслом и хотел что-то сказать, но Минаев еще раз ударил своими краткими прикованными словами:

— В глаза. Прямо. Не моргай.

— В-вы... успокойтесь...— ежился начальник.

— Я спокоен. Я свободен. А ты, брат, не уснешь...

Тут неистово задрезжал телефонный звонок, и начальник, обрадовавшись законному предлогу, кинулся к будке, которая была рядом с креслом.

Начальник надрывался, он как-то азартно ел воздух словами в телефон.

— Нет, нет! — кричал он. — Даже больше! Я долго терпел, но теперь скажу: надо улучшить их положение. Наградные к пасхе надо увеличить.

Минаев то слушал этот разговор, то придвигался к окну и нервно наблюдал за какой-то новой жизнью на дворе парка.

А начальник кричал в телефонную трубку: «Нет, нет! Я не могу ручаться, не могу, — я по опыту знаю, что могут быть неожиданности».

И потом, после сухого хрипа ответных фраз, он облегченно заключал:

— Ну вот великолепно, великолепно. Благодарю вас.

Минаев подвигался ближе к окну.

Начальник сиял.

С улыбкой подходил он к Минаеву:

— Ну вот, видите: управление...

— А вы видите? — остановил Минаев начальника, указывая рукой из окна на трамвайный двор.

Из парка выходила партия резервных вагонов для усиления утреннего движения, но с хрустом затормозилась, остановленная собравшейся толпой на стрелке.

Вагоновожатые сошли с вагонов и присоединились к слесарям. По знаку одного из рабочих все сняли шапки. Голосов не было слышно, но выражение лиц и движение ртов говорило, что началось что-то необычайное.

Подскочивший к начальнику студент хлопотливо спрашивал:

— Это стачка?

— Не думаю.

Но как-то обрадовался начальник этой мысли студента.

Неопределенность и ожидание событий его мучили.

По лестнице быстро вбежал запыхавшийся Малецкий.

Сухо и фамильярно сунул руку начальнику и студенту и быстро, уже как будто с готовым планом действий, подбегает к Минаеву.

Начальник рвется подойти к ним, но чувство собственного достоинства побороло, и он снова придвинулся вместе со студентом к окну.

— Минаев, ты знаешь, — начал решительно Малецкий, — по-моему...

— Что — по-твоему?.. Любопытно.

— По-моему, уж начинать дело, так начинать.

— Пойдем-ка.

Дальше все произошло как-то без слов, быстро, стремительно.

Не дожидаясь еще прихода Минаева с Малецким, к толпе вышел Васин, как будто только взглядом спросил ее. Толпа быстро взвила руки кверху вместе с фуражками.

Минаев сначала показал на стрелку; лицо его нечеловечески покосилось и побагровело: задавил он как будто подходившие к горлу рыдания, потом тряхнул рукой и показал Малецкому на ворота.

Малецкий поднял было взгляд на толпу рабочих и хотел спросить ее, но сотни глаз, полных мести, полных готового удара, заставили его только вздрогнуть.

Сначала тихо, как бы поплелся он от толпы со двора, потом все ускорял и ускорял свои шаги. В воротах он почти бежал. Здесь первый раз со времени его службы сторож не поклонился ему.

Дробью задребезжало стекло в окне кабинета. Малецкому отчаянно стучал начальник, но Малецкий сделал вид, что не слышит.

Толпа медленно направилась опять в сараи.

Начальник из окна ловил взгляд, походку, следы последних фигур, видных на дворе, и хотел узнать, что будет, что рождается, что растет.

Тронулись с треском и визгом резервные вагоны из парка.

На дворе пусто.

Серые окна сараев ничего не говорили ни о тишине, ни о буре. Они играли своими мутными отливами на солнце, и весь парк казался какой-то неразгаданной загадкой.

Несмотря на свежий холодный ветер, начальник в одном легком пиджаке побежал из кабинета в парк.

Рабочие молча возились со своей работой. На лица легла какая-то дума, не было команды мастера, но хотелось ворочать, хотелось грузного движения, хотелось работы, работы молчаливой.

ЗВОНЫ

Новое — было, мятежное звало, шумное, бурное, дерзко будило.

До блесков пурпурных зари, до криков надсадных гудка поднялся.

Искал я и слушал, тревогу хотел разгадать, сердца хотел я понять перебои.

И вдруг ворвались через двери и окна убогой хибарки с гамом неслыханным, с шумом вбежали весенние новые звоны.

Все позабылось... Скорее на волю, бежать без оглядки и слушать весенние звоны.

Влагою свежей дышала земля; дождик живительный первый весенней ночью прошел. Грянул проливной, грянул обильный, землю обмыл и понежил.

Резвые глыбы громад облаков гнались в холодных и легких просторах небес.

Милою теплою лаской нежданной вставало весеннее солнце.

Высоко, высоко в заповедных глубинах расторгнулись двери наполненных звоном невидимых храмов, вырвались света моря, океаны и падали книзу волной — вдох-

новеньем вестника пира весеннего — птицам.

С звонами новыми, звонами вешними птицы неслись над равнинами, лесом, полями, долинами, всюду будили восторги весны, разливали призывы, песни несли.

Земля доверялась их песням. Вся — доброта, вся — любовь материнская, отдавала она запасенные соки, рядилась коврами, поила кусты и деревья.

Робко, как детские глазки, раскрылись весенние почки. Ветер срывал фимиамы их, нес к городам.

Побежали опять, задуваясь, весенние звоны, кто-то шальной заходил вдоль по лесу, вовсю загулял лес, как в хмелю, закачался, запел, загудел.

На газовых мантиях-крыльях вырвалась мысль, понеслась из простывших за зиму низин, быстро взвивалась мечта, а за нею вставала — силач-исполин — вдохновенная властная воля.

Говорить бы скорей, рассказать, всё поведать, ринуться в море людское, призвать, слово новое дать, воскресить хороненные сердца порывы и к шуму и к звону людскому скорей, как к приливу весеннему, гнаться.

Вдалеке от угара весны — черной скалой высился хмурый, весь сталью и камнем гудящий, весь беспокойный завод.

Чем же порадуешь? Вестью весенней какой подаришь, дом наш — жилище труда и неволи?

Холодом прошлого, злым полумраком встретили своды заводские море людское, шумящее звонами новыми.

Со скрипом лениво брались привода...

Завыли моторы тоскливою песней...

И вспомнились звоны надрывные чьих-то рыданий, печали схороненной, жалоб несказанных. Жужжали моторы таежною вьюгой над кем-то далеким, заброшенным в глуби лесов нелюдимых.

Закружились валы, зашептали о чем-то зловеще-тревожном, и всхлипывал часто ремень на шкивах.

Молоты били и грохали в кузницах дальних, наполненных дымом... И звоны смертельные, звоны, губящие жизнь, в душу вонзались.

Колотили, стучали, скоблили, скрипели у ближних тисков...

И звоны ключей в коридорах тюремных как будто готовили узникам, запертым — весть безнадежную, новость последнюю...

Мчался по рельсам гулко, раскатисто кран. Спускались, ложились и снова брались подъемные цепи. И болью глубокой, болью знакомой в сердце входили, его разрывали — кандалные звоны...

Нехотя шли на заводе станки. Со скрежетом брали резцы токарей, грызли со злобой металл фрезера, фыркали стружкой резцы строгалей.

Не ладился нынче завод. Ломались сверла, все драли резцы и фрезеры с треском крошились.

Грелись трансмиссии, выли подшипники, клёпка не ладилась, молот валялся, не брала пила.

Со стоном последним, звоном надрывным, усталым прошел по заводу разбитый тревожный гудок...

Запружены лестницы, хоры, подвалы народом.

Замер завод.

И с новыми звонами, вольными звонами, звонами бурными хлынули волны шумливого люда рабочего.

В воздушных просторах, в лесах, по холмам, по долинам играла все та же весна. С неба шли те же весенние звоны, но звали тревожными новыми песнями. По небу с молнией к нам подплывали грозовые тучи, и грянули громом раскатистым, бодрым, призывным — весенние новые звоны.

ОСЕННИЕ ТЕНИ

Промчалось быстро для кого-то лето, полное мечты, игры, волнующих, волшебных снов.

Для нас, для забастовщиков, оно тянулось бесконечно. Как призраки бескровные, вставали и ложились дни.

Надежды были скованы безжалостной нуждой. Костлявый голод неустанно шлялся по пустым, полураспроданным жилищам. Лишь иногда он хоронился в туманах едких опьяненной, с горя одурманенной толпы.

Все злились, стали желчные, переругались. Доходили до битья. Грозили смертью.

Я помню этот крестный ход наш на последнее собрание. Задушенные горем шли мы кончить забастовку.

В лесу сидели мы, как проданные на убой, ненужные, худые клячи. Я помню налитые кровью и безумные глаза. Я помню, как без веры в жизнь, в грядущую победу, там кинул кто-то черный и отчаянный призыв. Я помню, как товарищ зарыдал на полуслове. Я помню, вопль отчаянный пронесся в глубине толпы; толпа тогда как

будто что-то светлое, родное схоронила и замерла в ужасных ожиданиях.

На дальних, на лесных опушках зазвенели было переливы юных песен, но скоро оборвались и забылись.

Пронзенные отравой жизни, поруганьем, пошли из леса молча мы к проклятому бездушному заводу.

Но улыбнулся улыбкой жадной капитал, он нам локаут приготовил. С тех пор, приговоренные к голодной смерти, все ходят под дождем, по мутным лужам, осенние, брошенные тени.

Лишь только свет, выходит милый Гриша, всё распродавший и раздавший всё за время забастовки. Он в тонком пиджаке, не высохшем еще и за ночь. Стучит зубами и с больной улыбкой захотел шутить со мной и говорит: «Пойдем на пару свататься к невесте-речке».

А вот другая тень. Бежит проклявший мир, и капитал, и труд, бежит Антон «Непьющий». Сорвал с кого-то, знать с студента, на двухсотку. Дрожащими руками он швырнул сидельцу деньги и не пил, а... пожирал проклятую сивуху. А после — целый рой бессвязных, злых, ужасных слов, кому-то вверх грозящих взглядов и жарких и отравленных дыханий.

К полудню выползает на шоссе малютка Шура. Ему как будто нет и четырех. А уж знакомо, боже, как знакомо горе жизни! С серьезными глазами охает, идет, качается и чуть не поскользнется и не рухнет он в

канаву. А мать, иззябшая с семьей в сырой квартире, ждет и не дожидается своего работника-малютку.

Что делалось в квартире? — Оборванные и больные ходят дети. Один тихонько плачет, сердится на маму, другие стонут. Во время забастовки родился еще ребенок. Три дня тому назад он захворал. Теперь беспомощно шевелит посиневшей ножкой и детской грудкой хрипит в предсмертных завываньях...

Мать давит высохшую грудь. Нет слез. Нет зла. Нет никому проклятий. Одно желание, одна мечта: уйти бы, умереть скорее со своей семьей.

А где отец?

Приходит поздно ночью с поисков работы, усталый и голодный, валится он на пол. Не видит он малюток. Не слышит плача их. Ни слова, ни привета не пошлет жене. Не видит мутных глаз ее надсадных.

И только утром до рассвета, перед поиском работ, идет он в коридор, запрячется и от людей и от жены и зарыдает там неслышным, уж надорванным рыданьем.

Как будто легче на минуту.

Вдали светает.

Но корпуса заводские стоят жестокие, смотрят безучастно на тени жалкие, осенние брошенных людей.

А в городе шумят и в освещенных залах спорят с увлечением — кто похудал, кто сколько потерял за лето жиру.

Придут другие дни. Вы будете справлять ваш светлый праздник. Вы запоете гимны вашему прогрессу.

Тогда-то к освещенным алтарям, блестящим и шумливым, придут нарушить праздник ваш — осенние, промокшие, изголодавшиеся наши тени.

I

Мы решили сдаться.

Штрейкбрехеры совсем обнаглели. «Общество заводчиков» решило поддерживать хозяина до последней возможности; почти вся передовая публика уже сидела или в предварилке, или в частях.

Трудно, нельзя передать словами эту боль сердца, с которой идешь в недавно еще брошенный, проклятый тысячью голосов завод. Как еще хорошо, что можно молчать и в тишине хоронить обиду, тоску.

К нашему удивлению, хозяин принял нас очень прилично: он не произнес ни одного слова насмешки, не позволил себе сделать ни одного едкого замечания.

Мастера тоже были сдержанны. Видимо, администрацию что-то тревожило.

Но штрейкбрехеры вели себя вызывающе: еще накануне нашего выхода они все вместе напились в «Коммерческой гостинице» и так злорадствовали, что думалось — это они и есть настоящие хозяева завода.

Когда мы вошли в завод, то увидели, что их победа была закреплена. Почти все по-

лучили прибавки, и как раз столько, сколько мы требовали перед забастовкой; это была самая жгучая пощечина для нас. Часть чернорабочих переведена на станки, а из слесарей несколько человек попали в старшие; одного поставили подмастерьем.

Осенью, когда мы обнищали после забастовки, обносились, ослабели, — нечего было и мечтать о новой забастовке.

Надо было придумать скрытую, но верную тактику борьбы с желтой публикой.

Так мы и начали действовать.

Но мастера заметили нашу компанию и постарались рассовать передовых товарищей по разным углам.

Начиналась рассыпная, едва уловимая борьба во всех отделениях завода. В этой борьбе было столько молчаливых приговоров, столько неслышных ударов, что рассказать о них прямо не хватит сил: ведь это сто ран и тысяча стонов.

Я расскажу только о моем приятеле Иване Вавилове.

Его все еще, вероятно, помнят, как он в 1910 и 1911 годах выступал на наших общих собраниях. Всегда вставал он в разгаре вязкого, мучительного денежного спора и своей речью бросался не на спорщиков, а к светлому солнцу движения, которое для него не заходило ни на минуту в самые черные дни. Спорящие стороны тогда моментально остывали, и если загорались, то новым, подъемным огнем. Живо терялись в толпе маленькие злорадные кучки,

все собрание выросло в стальные стены наступления. Вавилов говорил в жуткой тишине этого стального роста, и речь его неслась над головами, как первая песня при- боя.

Это с ним, с Вавиловым, в доме графини Паниной сцепился помощник пристава и пробовал запретить употребление слов «боевая организация», как мы называли свой союз. Вавилов после этого замечания сошел с трибуны, говоря: «Я не произнесу больше этих слов, но они не умрут в душе, а вспыхнут в ней вечным пламенем». Собрание поднялось и, как цветами, забросало его аплодисментами. Вавилов тонул в буре восторга.

Он в это время работал у Сан-Галли, но после собрания его уволили; он перешел на Обуховский; с Обуховского вылетел за первую же попытку открытой продажи журнала. После долгих мытарств он пристроился к Вулкану. Забастовка в инструментальной мастерской разразилась через две недели после его поступления; Вавилов был выброшен после ее проигрыша. Мы напрягли все силы, чтобы он поступил к нам. Кто-то назвал его «неугомонным», эта кличка быстро облетела весь завод, и многие даже забыли его настоящую фамилию.

Во время нашей стачки Вавилов не жил, а горел.

Во время массовых арестов жена Вавилова не видала мужа по неделям, и в то

же время он не трусил, а всегда, если дело того требовало, стоял рядом с тем, кто его искал...

В числе руководителей нашей забастовки были люди колеблющиеся, часто хандрившие, были и очень мягкие, страдавшие до слез, но стоило только появиться Вавилону, чтобы моментально спугнуть эту тину недоверия, и тогда даже наиболее слабые из нас чувствовали, как снова махала и была своими крыльями надежда.

Но вдруг в самый разгар забастовки Иван Вавилов сразу пал, надорвался. сдался. На нашем общем собрании он заговорил мутящим штрейкбрехерским языком. С дальнего края собрания, где притаились друзья мастеров, понеслись крики одобрения.

Вавилов нас ошарашил. Мы все подались от центра собрания в сторону и как бы спрашивали друг друга: «Ну а ты, тоже изменил?» Наконец резко, решительно заговорил против Вавилова молодой товарищ Петров. Но только что он начал донимать своим жалящим языком Вавилова, как из кустов раздался страшный, пронзительный крик:

«Полиция!.. Хотят стрелять...»

Испуг был сильнее выстрелов: масса рассеялась в одно мгновение.

Тут же для нас стало ясно, что крики были простой провокацией, но было поздно: собрать публику было нельзя.

Через два дня после этого собрания Вавилов работал на заводе. Серая штрейк-

брехерская публика, тогда еще робевшая и выжидавшая, бешено ринулась на завод своим предательским валом.

Теперь мы снова работаем на заводе.

Хотелось забыть про хозяина, про весь гнет, про торжество и радостные пляски капитала. Думалось только об этой толпе срывателей нашей борьбы.

Мы молчали дни, молчали недели, но в этом молчании то и дело сверкали искры враждебных токов.

Вавилов уже неделю как работает в нашем отделении, где стоят токарные станки. Он устанавливает несколько новых машин, налаживает новые приспособления.

Я работал поодаль, в углу, так что у меня с ним не могло быть столкновений, к тому же мы с ним, старые друзья, стали уж прямо «на ножах». Но он затевал игру с токарем Павловым.

На третий день после возобновления работ Вавилов стремительно побежал к Павлову и сунул ему руку. Павлов второпях пожал ее, но когда хорошенько разглядел, — плюнул и начал торжественно мыть руки.

Вавилов покраснел, что-то было заговорил, но смешался и замолчал.

На другой день Вавилов с утра заговорил с Павловым и хотел, видимо, объясниться начистую; Павлов отворотился в другую сторону, запел и отошел от станка.

Вавилов озверел, плюнул на всех нас. Замкнулся.

Он уже не пытался заговорить с нами. Но, странное дело, его попытки говорить со своими друзьями, штрейкбрехерами, тоже кончились неудачей: «да», «нет»—два слова, и все, что можно было с ним поговорить. Штрейкбрехеры злобно оживлялись только тогда, когда сталкивались с передовыми товарищами; когда же они оставались в своем обществе, то буквально только сопели под свои носы или же ковыряли в них.

Молчать и молчать — вот что осталось для Вавилова.

Время шло; дни лишений тонули в прошлом; мы начинали улыбаться.

А молчаливый суд над Вавиловым тянулся, его одиночество становилось тюрьмой. И не предвиделось конца, перемирия, освобождения от этой страшной одиночки, железная решетка росла и крепла все больше и больше между нами и Вавиловым.

Он заметно худел. По утрам иногда приходил он с красными глазами и слипшимися веками. Кто знает, спал ли он по ночам.

— Товарищи, он мучается. С кем не бывает...

— Нет, это предательство можно искупить только смертью.

— Брось, брось, опомнись. Все же он человек, он столько вынес.

Это спорили за нашими станками.

— Вот тут-то и собака зарыта. Помиришь

мы с ним теперь, нас всех забросают грязью, будут говорить, что все мы тут куплены хозяином.

— Но что же ему делать?

— Пусть думает, он умнее нас с тобой.

Недели через три мастеру заявил Павлов, что его станок окончательно расхлябался и нужен немедленный ремонт. Мастер дал записку старшему по ремонту. И после обеда в тот же день Вавилов подошел к станку Павлова для ремонта.

Мастер предупредил Павлова, что если он не хочет гулять, то может «отмечаться цехом», если будет помогать Вавилову. Вавилов слышал это объяснение мастера.

Павлов прибежал в наш угол:

— Я сам заплачу любому подручному, только бы не нюхать вавиловского запаху.

И Павлов гулял.

Вавилову дали мальчика Егора Симонова. На первых порах этот мальчик был долгожданным другом Вавилова: он многого еще не знал в жизни и был очень услужлив. Вавилов то и дело ласково покрикивал ему: «Ега, поднатяни чуть-чуть». А то уж совсем по-родительски: «Малый, малек, отдохни», «Не надрывайся: в жизни еще наработаешься». И Ега платил ему тем же. «Не поднажать ли? — спрашивал он Вавилова с милой детской готовностью работать. — Я привыкши к ремонту-то».

Скоро, однако, Ега заметил наши отношения к Вавилову. И вот однажды, смотря

по-детски серьезно в упор Вавилову, мальчик сказал:

— А я что-то знаю.

— А что ты знаешь? — скрывая свое волнение, спросил Вавилов.

— Ты будто бы не из наших... — боязливо и нерешительно проговорил Егор.

— А из каких же, по-твоему, шкетенок ты этакий?

Егорушка приподнялся, готовясь бежать.

— Ты, сказывают, хозяйский...

— Рвань! — привскочил Вавилов.

Мы заметили эту неожиданную перестрелку.

Вавилов усиленно захлопотал около станка и, не глядя на Егора, скомандовал ему:

— Иди в инструментальную, приготовь большой угольник.

А Ега тем временем телеграфировал своими живыми глазками нашей публике.

Он съежился и, вместо того чтобы идти в инструментальную, нырнул в ближайшую лестницу.

Вавилов не смотрел на нас, но, видимо, чувствовал наши взгляды. Он брался за работу, но без угольника нечего было делать. Ега пропал.

Нехотя поплелся он сам в инструментальную.

Как из земли вырос, снова появился около павловского станка Ега. Он быстро схватил ковшик с черным клеем, свесил с вавиловского инструментального ящика пыли, ручки, ключи, отвертки и намазал

их с нижней стороны клеем. А сам опять удрал.

Вавилов принес угольник, вытер лоб, надел очки и с замкнутой серьезностью принялся за работу.

Когда он начал раз за разом вваливаться руками в липкий клей и поглядывать в нашу сторону — заметили ли все это мы, — с нашей стороны понесся неистовый молодой хохот, захлопали в ладоши, а от женщин по направлению к Вавилову полетели грязные тряпки.

Вавилов поднялся от станка, собрал весь инструмент, опять беспощадно весь измазавшись, и ушел к конторе.

У конторы как раз собрались несколько отъявленных штрейкбрехеров.

Вавилов шел к ним быстро, они все вытянулись в ожидании своего вождя. Между ними начался разговор, сначала ровный, потом он перешел в спор. Вавилов к чему-то призывал их.

Они посмотрели на него растерянно. Вот он остановился перед ними в вызывающей позе. Они потупились. Вавилов плюнул в их сторону и решительно направился в контору мастера.

По нашей мастерской пробежал холодок тревоги. У всех было предположение, что Вавилов звал их на самый энергичный отпор, а они трусили. И тогда, очевидно, Вавилов решил действовать на свой риск и страх.

Вавилов никогда не любил шутить: он одинаково решителен — в добре ли, в зле ли.

Понятно, что мы решили подготовиться ко всему.

Весь обед мы только и говорили, что о Вавилове и его компании.

Уже перед самым гудком прибежал Егорushка и сообщил, что у одного нашего слесаря облито керосином пальто. Ясно, что это дело рук штрейкбрехеров, они переходят в наступление.

— Товарищи, все же нам надо пока попридержаться, — испуганно заговорил слесарь Вагранов.

— Не попробовать ли заявить директору?

— Для начала, пожалуй, переговорить с инженером.

Не успели мы перекинуться еще парой слов об этом, как сообщили, что Павлову пишут расчет.

Струны натянулись.

Когда прогудел послеобеденный гудок, мы все стояли на своих местах, но никто и не думал приниматься за работу: руки немели от тревожных ожиданий.

Вавилова не было.

Штрейкбрехеры собрались кучками, гудели, спорили. В контору был вызван один из них. После краткого разговора мастер начал на чем-то настаивать перед директором.

Полдня шло медленно.

В полупритихшем заводе росло событие, назвать которое никто еще не решался.

Вечером было несколько заводских собраний.

II

Утром работа начиналась у нас в восемь часов. Завод наш был передовой. Это выражалось в мелочах. Например, никто из нас, кроме штрейкбрехеров, не любил приходить на завод за час или полтора и там дремать или балакать. Вся громада с едва уловимой быстротой проходила в завод за пять минут до гудка.

Но сегодня исключение. Многие в половине восьмого уже были на заводе: все хотели поскорее узнать, что происходило ночью, что готовилось. По дороге то и дело перекликались, останавливались, перебегали от одного к другому. И, как всегда, некоторые не знали ровно ничего, другие — слишком много.

Вагранов, еще не выйдя из переулка на проспект, закричал:

- Эй ты, как тебя... Ванятка...
- Ты что, сдрефил? Я сроду Егор.
- Ну, Егорушка... Не видал?
- Не то что видал, а любовался.
- Ну, что он?
- В дымину.
- Ванька Вавилов напившись?
- Да как!..

— В компании или один?

— Вдвоем — со штофом.

Вагранов замигал, молча рассуждая сам с собой.

— А про Павлова знаешь? — спросил Егорушка совсем серьезно, с чуть скрываемым презрением к Вагранову за его ротозейство.

— Ну-ну?

— Вчера к мастеру пришел; гыт, я не ручаюсь за себя.

Вагранов съежился и схватился за голову, ужасаясь несущихся событий.

— Да я, гыт, не ручаюсь: или Вавилов, или я в завод, а то, гыт, вилами по Вавиле...

— А мастер?

— А мастер мягко обошел, гыт, я вас не тесню, а и Вавилова обижать не хочу. Павлов, не говоря хороших слов: «Пиши расчет»...

— Дела... Надо столкнуться, — заговорил Вагранов с Егорушкой, позабыв, что тот совсем мальчик.

— Егорка, ухарь!.. — окликнули в стороне.

— Чего, смиренный?..

— Твой начальник-то нацарапал сегодня в газете.

— Насчет клею?

Образовалась кучка. В газете было напечатано:

«Во время стачки у меня подошли такие скверные обстоятельства, что и рассказать о них невозможно. Они меня вынудили на

позорный шаг, и я вместе с другими сломал стачку. Я теперь раскаиваюсь в этом поступке и прошу товарищей вновь принять меня в свою среду».

Читали всюду: у ворот, по дороге, на дворе.

Трудно сказать, сложилось ли у кого-либо из товарищей мнение по поводу этого выступления Вавилова: рождались намерения, догадки, но не более этого.

Все спешили на завод.

В нашем отделении было больше народу, чем в других. Шумели.

Крик слышался и от штрейкбрехеров. Особенно среди них выделялся злорадный голос:

— Опять сойдутся: люди свои.

Вавилова еще не было.

Но на ящике уже лежала газета с его заметкой.

Мы подошли. Внизу заметки карандашом было написано:

Шалишь-мамонишь,
На грех наводишь!..

Блеск глаз Егорушки сразу выдавал автора.

— Все-таки надо посерьезнее разобраться, — начал Вагранов.

— А по-моему, что написано, это — самое серьезное, — ответил ему Петров.

— Да... А по-моему, так вы его просто травите. Человек покаялся, унизился — так мало?

— Во время забастовки шестеро каялись, а потом опять пошли на завод.

— Да разве с Вавиловым можно равнять?

— Вот именно, я не равняю. Стало быть, писулькой не отделаешься.

Вагранова уже взорвало.

— Я спрашиваю: есть у вас душа?

Загудел гудок, оборвался разговор.

Пришел Вавилов. Он прочел надпись, скомкал газету и начал работать.

Губы его дрожали, но он хотел казаться невозмутимым.

Послушать бы наши души в то время... Страдание человека действовало на нас. Но протянуть ему руку было страшно. После минутного раздумья нами овладела стихийная беспощадная месть к этому человеку, который так донял нас во время стачки. Кажется, вот-вот подходит к горлу рыдание за него, за бывшего друга, преданного товарища, — не утерпишь и обратишься к соседу: да не довольно ли наконец? Но вдруг у кого-либо прорвется крик возмущения предательством, и он снимет, победит все: и сострадание, и участие, и душевные муки — всё, всё.

Вдали показался мастер с новым токарем Назаровым, принятым на место Павлова. Назаров был свой.

Назаров знал о Вавилове.

Вавилов подошел к станку и, не здороваясь с Назаровым, поджимал последние

болты. Он отошел с таким видом, что можно было понять: станок готов.

Назаров начал работать.

— Господин Вавилов... — крикнул вошедший фрезеровщик.

— Да? — взволнованно спросил Вавилов.

— Вот ваши пятьдесят копеек.

— Это откуда?

— А вы подписывали на бастующих эриксонцев.

— Так что же?

— Постановили — от вас не брать...

Это было сказано просто, коротко и деловито, как на суде.

У Вавилова тряслись руки, в которых он сжимал свои пятьдесят копеек.

С минуты на минуту он ждал новых ударов. Инструмент валился из рук.

«Куда бы уйти, — думал он, — и побыть в полном одиночестве и молчании хоть полчаса. Только бы не здесь, под постоянными выстрелами насмешек, обид. В отхожем месте? Но там уже, вероятно, появились на стенах едкие надписи, а кто-нибудь из молодежи состряпал и читает новые стихи про меня».

Он взял первый попавшийся чертеж, положил его на ящик и, облокотясь на него, делал вид, что рассматривает его, а сам весь ушел в свою тоску, черную думу, весь застыл в своем ужасе одиночества.

Назаров суетился около станка. Он пробовал пустить его, подбирал резцы, прикидывал расстояние между центрами, и

все это делалось с беззаботной развязностью недавно вышедшего из учения токаря, которому хочется пустить пыль в глаза новым товарищам.

Вавилов сгорбился над чертежом.

Мало-помалу глаза его отрывались от точек и линий, и он застывшим взглядом смотрел поверх очков по направлению к Назарову. Казалось, что он не замечал ни Назарова, ни Вагранова, ни меня, не замечал завода, машины выросли в его глазах в черные призраки, люди убежали в чуждую даль.

И вдруг перед глазами мелькнуло отчаянно скосившееся лицо, выступили глаза, искавшие помощи, и загорелись смертельным испугом.

Это Назаров, неловко поддевший на кран якорь для обточки, поправлял скользливую веревку. Минута, секунда... и якорь грохнется и ударит прямо на Назарова. Вавилов сорвался с места и протянул руку, чтобы немного отвести веревку к середине.

— Прочь!.. Сука хозяйская... — кричал Назаров, испугавшись помощи Вавилова.

Веревка соскользнула, якорь перекувырнулся и смял Назарова.

Назаров бился в судорогах.

Со всех концов бежали товарищи.

Вавилов побледнел и грохнулся на плашкетный пол. Он замер.

Завод остановился.

Два полумертвых тела понесли на воздух.

Назаров пролежал в больнице полгода; потом его повезли в деревню, и он умер там медленной, мучительной смертью.

Вавилов тоже был в больнице, но через три недели выписался.

На завод явился только за расчетом, да и то во время обеда. В течение года о нем никто из наших не слышал.

Но вы помните, что в наших газетах месяца два тому назад было напечатано такое сообщение:

«Забастовка на заводе Фридмана за Московской заставой кончилась. Требования рабочих удовлетворены почти полностью. Это — первая выигранная забастовка за все лето. Все арестованные освобождены. И. В., принимавший участие в переговорах, вчера после обеда скрылся. Денег при нем не было».

Здесь говорилось, конечно, о стачечных деньгах. И. В. был Иван Вавилов. Авторы заметки хотели устранить догадку о похищении денег, которая, очевидно, напрашивалась у многих товарищей.

У нас на заводе в то время стало дышаться вольнее: кое-что мы предпринимали.

IV

Меня сцапали в самую жару новых приготовлений.

Настроение у меня было гадкое.

Когда я вошел в охранку и услышал запах духов, который густыми волнами ходил по всем комнатам, у меня уже стало совсем мерзко на душе.

Меня втолкнули в одну из клеток — пождать допроса.

В соседней комнате говорили.

Я не верил сам себе: по голосу я узнал Вавилова.

Разобрать нельзя было ничего: говорили тихо и ровно.

С вами, товарищ читатель, бывает иногда так, что вдруг жгучая молния пронзит вашу голову, и вы в одну минуту передумаете столько, сколько не передумаете за день. Время как будто включает свои ходовые шестерни, замирает, и мысль летит и стоит в одно и то же время...

«Тут шутка...» — заключил я свои догадки.

Это ужас, что я не могу никому об этом рассказать, предупредить, а может быть, там, при свете охранных фонарей, идет грязная работа...

Он — провокатор...

Ему некуда больше...

Мысль рвала и кружила: не потому ли я очутился здесь? На самом деле — кто на меня мог доказать? Наши заводские это

сделать не могли, от них так была скрыта наша работа. Кто-то дальний, очень дальний постарался... Усталая, истерзанная мысль останавливалась на одном предположении: Вавилов меня предал... Как хорошо, что мы еще раньше не поддались на его шутки.

Снова вспыхнули мысли, неслись и бушевали как шторм. Они забегали в будущее: чья очередь теперь провалиться? А то ринулись в прошлое, и я ясно видел, я уже был уверен, что загадочные аресты были делом его рук.

— Но вам же не семнадцать лет... — вдруг послышался наступающий голос в соседней комнате.

— Да, мне сорок, — спокойно ответил Вавилов.

— Вы так просто не отделаетесь. Мы вас подержим, да и подержим.

— Не впервые, — так же спокойно ответил Вавилов.

— Но я спрашиваю, где же, однако, та нелегальщина, о которой в этом письме упоминается?

— Моя нелегальщина? — вскочил Вавилов так, что я мог его немного видеть.

— Да где, где она?

Вавилов завозился, хотел загнуть рубаху, но это не удалось, и он судорожно схватил ее, разорвал снизу доверху и, ударив правой рукой по сердцу, закричал:

— В-во!.. В-во моя нелегальщина!

Сразу оборвалась возня, улеглись крики,

замолкли и оцепенели мысли у меня... И там, за стеной, кажется, они тоже замерли.

Только минут через пять офицер прервал тишину и спокойно приказал дежурному околоточному:

— Переведите Ивана Вавилова из Спасской части в дом предварительного заключения...

После того как захлопнули выходную дверь, позвали меня.

Офицер стал допрашивать меня, ходя из угла в угол.

Я что-то бормотал на его вопросы в ответ, но ничего не выходило, и я отказался от всяких показаний.

Жандарм прервал свой марш по комнате, изумленно посмотрел на меня, схватился за перо.

— Вы хоть дайте сведения о себе, о ваших родителях, семье.

— И от этого отказываюсь, потом...

Офицер, видимо, убеждался, что я знатная революционная птица, и нетерпеливо постукивая ручкой, спрашивал:

— Но в чем же дело?

— Отправляйте меня пока обратно в тюрьму...

Меня повели второй раз фотографировать.

СИЛЬНЕЕ СЛОВ

Из пролетарских новелл

Наждачное отделение в заводе было отгорожено от мастерской стеклянными стенами. Сухая наждачная и стальная пыль садилась на окна и сделала их матовыми. Ничего не было видно, что делалось там. Пожары искр быстро освещали стеклянную клетку, и по окнам пробегали тени не то людей, не то призраков. Непрерывный гул неся из клетки.

Работу на сухом наждаке выдерживали немногие. Уже через полгода люди казались полумертвыми. Они становились бледны, неразговорчивы. Человеческого и живого в них оставалась одна только злость. Самое большое через год уже все кидали работу. Собирали инструменты, бросали залпами в стеклянную будку проклятия, плевали и требовали расчета.

Удержался только один. Это — старик. Кости его были геркулесовские, рост необычайно высокий, грудь широчайшая.

Когда-то он был лучшим борцом в городе, красавцем, казался даже баловнем жизни.

Теперь у него остались те же геркуле-
совские кости, но мускулы высохли и грудь
вдавилась. Голова его начала седеть, но
пыль съела седину, и волосы стали серы
как пепел.

Начальник любил пробегать по мастер-
ским перед самым гудком: он требовал,
чтобы кончали работать минута в минуту,
ровно в двенадцать.

Он как-то забежал в наждачную клетку.
Отворил дверь и... окаменел.

Перед ним привидение: высокий силач,
весь в сером — серая одежда, серая голо-
ва, серое лицо, руки. На глазах черные
очки.

Человек, привыкший к заводскому шуму,
может сквозь железный грохот расслы-
шать легкий шелест двери: старик остано-
вил работу, снял очки. Начальник увидел у
него слезы.

— Вы плачете?

Старик помотал головой и показал на
пыль.

— Ах, она едкая... — проговорил началь-
ник. — Вы давно работаете?

Старик уже несколько лет ни с кем не
говорил: работа приучила его молчать, су-
хая грудь отвечала кашлем на каждое сло-
во старика.

— Тридцать пять... — процедил он.

Его голос показался начальнику страшен.

У него сразу мелькнула мысль: это один
из тех, которые держатся на заводе для
агитации. Они вербуют людей в союз, в

партии, они говорят на собраниях. Такие люди могут потрясать миллионы своим загробным голосом.

— Скажите, вы в пятом году не выступали на митингах?

— Нет... — оборвал старик.

— И вы не были депутатом?

— Голосу нет, — прохрипел ответ.

Начальник терялся в догадках.

Закашлявшийся старик что-то произнес, но начальник не понимал.

— Вам бы надо на покой... — подходил к нему начальник. — Я буду хлопотать вам о пожизненной пенсии от завода.

Старик закачал головой.

Попытался говорить, но не мог.

Наконец он преодолел тиски, сжимавшие ему грудь, и твердо сказал:

— Я — делегат.

— От кого?.. — испуганно и удивленно спросил начальник.

— От тех... — показал старик на землю.

— Это от кого же? От каких?

— Которые ушли...

— Куда?

— Туда... — показал старик вниз. — Под станки.

В могилу...

Трансмиссии вздрогнули, сбавили тон.

Заревел гудок.

Старик сбросил куртку.

Завод стал. Послышался крик, говор и смех выходящей толпы.

Старик, не откланявшись с начальником, быстро вышел из клетки.

Тихо шел за ним начальник.

Старик прорезал толпу. Он был выше ее на целую голову.

Сразу крик и смех отлетели.

Завод онемел. И по его сводам, как в могильном склепе, несся и бился кашель старика.

Он так гулко и глухо бухал, что кашель казался самым совершенным словом, словом тех, что ушли, что в могилах.

И на мгновенье казалось, что завод остановился не по гудку, а колеса застыли от этого кашля.

Один, единый общий вздох в толпе. Вздохнул великан-завод, и наждачная пыль, проникшая из клетки, тихо садится на голову толпы. Толпа движется, затихшая, сразу как будто потерявшая молодость. Шаги ее, замедленные и неровные, говорят о том, что в жизни иногда самый обыкновенный выход превращается в процессию.

Старик на этот раз закашлялся так, как никогда.

Он стал задыхаться и, окруженный толпой, упал.

И умер без агонии.

Старика хоронили через два дня.

Стали все заводы нашего «Черного предместья». Не работали и на промыслах.

Тихо, только для поддержания огня, го-

рели кочегарки. Заводские трубы ровно дымились и стояли на фоне неба, как потушенные свечи в храме капитала. Вышки, немые и черные, казались траурными великанами, склонившими головы.

Рабочая толпа шла без песен и молитв, как приговоренная к молчанию.

Ни слов, ни речей не было сказано.

Не было ни одного венка: все знали, что наждачная пыль, которую унес в своей груди старик, что эта пыль завтра пройдет сквозь могилу, загубит венок, и сердце толпы еще раз будет поругано.

На могилу положили тот самый наждачный камень, на котором работал покойный; это была его последняя воля.

На камне алмазом вырезали надпись:

«Агитатору «Черного предместья», не знавшему слов».

Я ЛЮБЛЮ...

Я люблю вас, пароходные гудки,
Утром ранним вы свободны и легки,
Ночью темной вы рыдаете, вы бьетесь
от тоски.

Я люблю тебя, убогий, грязный трюм,
Этот бешеный подвальной жизни шум,
То мятежный, то, как омут, зол-угрюм.

Я люблю тебя, суровая корма:
Стоном песен рулевых ты вся полна,
Но голубит и ласкает тебя вольная волна.

Я люблю и вечно хмурю трубу,
Что все смотрит не насмотрится
в судьбу,
Мрачно думает, вздыхает про борьбу.

Но всех больше полюбил я вас, сигнальные
огни:

В буре, в шторме вы гуляете одни,
С горизонтов нелюдимых всем видны.

Эх, — подымутся напасти злой воды,
Мы помрем, подохнем с голода,
с нужды,
Онемеют все гудочки от беды.

Трюм затихнет, похоронит мятежи,
Руль согнется, хоть держи иль не держи,
Пароход погибнет в море мутной лжи.

Но огни сигналов наших будут биться
на волнах,
Потухать, но на отчаянных челнах,
Умирать... но как призывный светлый
взмах.

Все забудется, все можно потопить,
Можно в глубях наше судно все сгноить,
Не устанут только люди говорить.

Что смеялись огни над злым бичом,
Не хотели сдаться буре нипочем
И метались перед смертью в море
пламенным мечом!

МЫ ИДЕМ!

Мы падали. Нас поражали.

Но в муках отчаянных все ж мы кричали:

«Мы явимся снова, придем!»

Серые дни поползли по земле.

Попрятались красные зори, забыты надежды, был выжжен сомнением порыв.

То яростно бился о камни, то черной тоской залегал по долинам ветер — бездомный скиталец, таился и жался, измученный.

Но все ж, собирая последние силы, он вихрем взвивался в заснувшие выси, тучи ленивые вмиг разрывал и показывал солнце; падал стремглав он опять с вышины, буйно туманы в низинах кружил и свистом пронзительным даль прорезал: «Мы явимся снова, придем!»

Кутали землю, как трауром черным, душили тяжелые ночи.

Шарила в царстве своем, разгулялась костлявая смерть. Плакал дождем постоянно рассвет, в саванах белых всё шли без конца вереницы... Злые и жадные тени кру-

жились над жертвой, ее поругали. Вздых пронесился предсмертный, глубокий, глаза потухали... Но блеском последним все ж тьму прожигали: «Мы явимся снова, придем!»

А на том берегу пиروвали. Там — танцы, безумно веселые танцы. На чьих-то могилах воздвигнуты новые зámки. Музыка в диком угаре неслась: «Он умер, он умер. Не встанет».

Пьяный разгул увлекал... Увлекал до бессилья. Пир истомил их, устали они. Мирно, покойно дремали.

Совсем безмятежное, тихое утро...

Вдруг с наших, казалось, умерших постов началась переключка: барабанили зорю.

Музыка зámков дала перебой: «Нет, не придет, не воскреснет».

Дала перебой и затихла. Совсем замерла ожиданьем... А с нашего берега звонко неслось: «Мы снова, мы снова идем. Мы прямо с работы, мы с душных заводов, чумазые, с шахт и из темных подвалов. И прямо на светлый пир».

Светало... На зámках тревожно играли и бились ночные огни. А по небу шла, расходилась, как вольная песня, заря, то тихо верха облаков зажигала надеждой, то дерзким пожаром рвалась, огнем обнимала холодное небо.

Идем мы и дышим мятежной отвагой. Просятся, рвутся, летят и поют переливы восторженных слов.

Мы идем! Нам нельзя не идти; встали мрачные тени недавних разбитых бойцов; поднялись живые преданья былого — сраженные раной отцы.

Мы за ними.

Совсем впереди, и сильней, и отважней, чем мы, зашагали пришедшие в жизнь молодые борцы. А вот наши подруги — друзья по станку. В руках они счастье свое дорогое — детей принесли. И смотрите: от груди едва оторвался ребенок, а делает радостный взгляд к небесам, вольные всплески рученок, к новому миру он рвется.

Идем, и бежим, и несемся громадой своей трудовой.

Нас ничто не страшит: мы пути по пустыням, по дебрям проложим!

По дороге — река... Так мы вплавь! По саженьям... отмахивать будем и гребнистые волны разрежем.

Попадутся леса... мы понижем и лес своим бешеным маршем!

Встретятся горы... До вздохов последних, до самых отчаянных рисков к вершинам пойдем. Мы возьмем их!

Мы знаем, — заколет в груди... Но великое с болью дается. Для великого раны не страшны. До вершин доберемся, возьмем их!

Но выше еще, еще выше! В победном угаре мы с самых высоких утесов, мы с самых предательских скал ринемся в самые дальние выси!

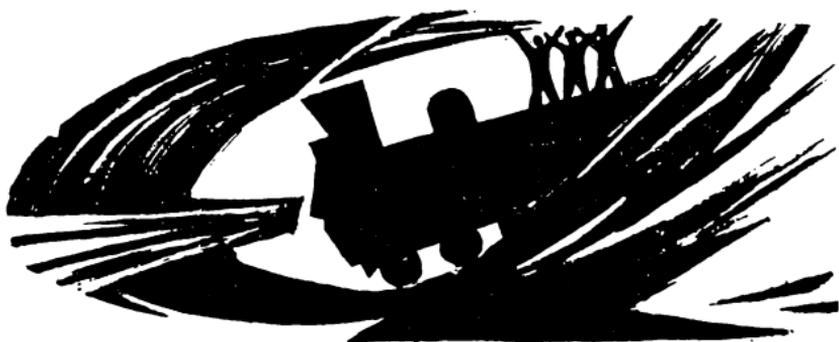
Крыльев нет?

Они будут! Родятся... во взрыве горячих желаний.

О, идемте, идем!

Уже в прошлом — осенняя, дикая, пьяная ночь. Впереди — залитая волшебною сказкой, вся в музыке тонет, вся бьется, как юное счастье, — свобода.

Идем!



МАШИНА

ГУДКИ

Когда гудят утренние гудки на рабочих окраинах, это вовсе не призыв к неволе. Это песня будущего.

Мы когда-то работали в убогих мастерских и начинали работать по утрам в разное время.

А теперь, утром, в восемь часов, кричат гудки для целого миллиона.

Теперь мы минута в минуту начинаем вместе.

Целый миллион берет молот в одно и то же мгновение.

Первые наши удары гремят вместе.

О чем же поют гудки?

— Это утренний гимн единства!

ВОРОТА

Я целый год вас не видал. Дрожу и бегу к вам, черные трубы, корпуса, шатуны, цилиндры.

Готов говорить с вами, поднять перед вами руки, воспевать вас, мои железные друзья.

Я полон утра, солнца, я в золоте юности, передо мной без конца несется чудесное.

Иду на завод, как на праздник, как на пиршество.

Рабочий город залит, утонул в лучах. Ночная тьма плавится, и льется лавина, море, обвалы огня. — Пышущий, пылающий завод.

Линия корпусов послала огни в поле, к оврагам, зажгла холодную росу тысячами бисера.

Привесные фонари пробудили дремлющие болота. Вчера еще немые, они движутся, говорят, в осоках льется шепот светлых сказок.

А с башни прямо вдаль огненно-белая струя, как брызги раскаленного металла, как застывший выстрел, пронзила лес.

В лесу заходили шальные тени, птицы подняли небывалый гвалт и бурлят, как люди на митинге; молодые голоса запели весеннюю песню, вдаль понеслось цоканье дизелей: это аплодисменты перед открытием занавеса, дороги загудели октавами подземного ропота... Вырвались сирены и сотней завывали над городом; вот-вот вырвется еще новый свет, необъятный, невиданный, невообразимый свет, свет!

Черным водопадом ввергается в заводскую пасть народ. Силачи-ворота без страха, не мигая, берут, всё глотают, глотают.

Сотня... другая... третья...

Тысяча...

Другая...

И еще... И еще...

Мы на дворе.

— Осеняющая сила железа!

Только вошел, и уже полонен, покорен, закован весь без остатка стихией грома, движения, света.

Воздух гремит и восторженно стонет. Железная душа завода пронзила толпу. Грудь загудела металлической дрожью. В корпусах началась грузная возня. И все тяжелее, все громче.

Корпуса разорвутся, лопнут. Они сейчас снимутся с места, взорвутся. Разразится катастрофа, из земли вырвутся фонтаны раскаленного металла.

— Ну, да грянь! Грянь! Мы готовы! Мы на дворе, мы уже другие.

Толпа идет новым маршем, ноги уловили железный темп.

Руки горят, им нельзя без дела, им не терпится без молотка, без работы. Токи энергии надо разрядить.

— Бей же! Бей!

Да скорее, да чаще!

Руби, пили!

К машинам!

Мы — их рычаг, мы — их дыхание, замысел.

Тысяча работников, необъятная площадь станков.

— Песню!

— Железную!

Одну, единую!

Еще, еще быстрее мчитесь, колеса!

Камень, металл, работники — все в вихре смешалось.

Стальной шквал. Огненный смерч. Ураган работы.

— Внимание!

На секунду! Только сразу, всей тысячей:

— Железный демон века с человеческой душой, с нервами как сталь, с мускулом как рельса.

Вот он!

Он добьется, он дойдет, он достигнет!

БАШНЯ

На жутких обрывах земли, над бездною страшных морей выросла башня, железная башня рабочих усилий.

Долго работники рыли, болотные пни корчевали и скалы взрывали прибрежные.

Неудач, неудач сколько было, несчастий!

Руки и ноги ломались в отчаянных муках, люди падали в ямы, земля их нещадно жрала.

Сначала считали убитых, спевали им песни надгробные. Потом помирали без песен прощальных, без слов. Там, под башней, погибла толпа безымянных, но славных работников башни.

И всё ж победили... и внедрили в глуби земли тяжеленные плотные кубы бетонов-опор.

Бетон — это замысел нашей рабочей постройки, работою, подвигом, смертью вскормленный.

В бетоны впились, в них вросли, охватили огнем их железные лапы-устои.

Лапы взвились, крепко сцепились железным объятием, кряжем поднялись кверху

и, как спина неземного титана, бьются в неслышном труде-напряженье и держат чудовище-башню.

Тяжела, нелегка эта башня земле. Лапы давят, прессуют земные пласты. И порою как будто вздыхает сжатая башней земля; стоны тянутся с низов подземелья, сырых необъятных подземных рабочих могил.

А железное эхо подземных рыданий колеблет устои и все об умерших, все о погибших за башню работников низкой железной октавой поет.

На лапы уперлись колонны, железные балки, угольники, рельсы.

Рельсы и балки вздымаются кверху, жмутся друг к другу, бьют и ловят друг друга, на мгновенье как будто застыли крест-накрест в борьбе и опять побежали всё выше, вольнее, мощнее, друг друга тесня, отрицая и снова прессуя стальными крепленьями.

Высоко, высоко разбежались, до жути высоко угольники, балки и рельсы; их пронзил миллион раскаленных заклепок, — и все, что тут было ударом отдельным, запертым чувством, восстало в гармонии мощной порыва единого... сильных, решительных, смелых строителей башни.

Что за радость подняться на верх этой кованной башни! Сплетенья гудят и поют, металлическим трепетом бьются, дрожат лабиринты железа. В этом трепете всё — и земное, зарытое в недра, земное, и пес-

ня к верхам, чуть видимым, задернутым мглою верхам.

Вздохнуть, заслепиться тогда и без глаз посмотреть и почувствовать музыку башни рабочей: ходят тяжелыми ходами гаммы железные, хоры железного ропота рвутся и душу зовут к неизведанным, бóльшим, чем башня, постройкам.

Их там тысячи. Их миллион. Миллиарды... рабочих ударов гремят в этих отзвуках башни железной.

Железо — железо!.. Гудят лабиринты.

В светлом воздухе башня вся кажется черной, железо не знает улыбки: горя в нем больше, чем радости, мысли в нем больше, чем смеха.

Железо, покрытое ржавчиной времени, это — мысль, вся серьезная, хмурая дума эпох и столетий.

Железную башню венчает прокованный, светлый, стальной, весь стремление к дальним высотам — шлифованный шпиль.

Он синее небо, которому прежние люди молились, давно разорвал, разбросал облака, он луну по ночам провожает, как странника старых, былых повестей и сказаний, он тушит ее своим светом, спорит уж с солнцем...

Шпиль высоко летит, башня за ним, тысяча балок и сеть лабиринтов покажутся вдруг вдохновенно легки, и реет стальная вершина над миром победой, трудом, достиженьем.

Сталь — это воля труда, вознесенного
снизу к чуть видимым верхам.

Дымкой и мглой бывает подернут наш
шпиль: это черные дни неудач, катастро-
фы движенья, это ужас рабочей неволи,
отчаянье, страх и безверье...

Зарыдают сильнее тогда, навзрыд зары-
дают октавы тяжелых устоев, задрожит,
заколеблется башня, грозит разрушеньем,
вся пронзенная воплями сдавшихся жизни
тяжелой, усталых... обманутых... строите-
лей башни.

Те, что поднялись кверху, на шпиль,
вдруг прожгутся ужасным сомненьем:
башни, быть может, и нет, это только ми-
раж, это греза металла, гранита, бетона,
это — сны. Вот они оборвутся... под нами
все та же бездонная пропасть — могила...

И лишенные веры, лишенные воли,
падают вниз.

Прямо на скалы... На камни.
Но камни, жестокие камни...

Учат!

Или смерть, или только туда, только
кверху — крепить, и ковать, клепать, по-
дыматься и снова все строить и строить
железную башню.

Пробный удар ручника...

Низкая песня мотора.

Говор железной машины...

И опять побежали от тысячи к тысяче
токи.

И опять миллионы работников тянутся к башне. Снова от края до края земного несутся стальные каскады работы, и башня, как рупор-гигант, собирает их в трехпетной песне бетона, земли и металла.

Не разбить, не разрушить, никому не отнять этой кованой башни, где слиты в единую душу работники мира, где слышится бой и отбой их движенья, где слезы и кровь уж давно претворились в железо.

О, иди же, гори, поднимайся еще и несись еще выше, вольнее, смелее!

Пусть будут еще катастрофы...

Впереди еще много могил, еще много падений...

Пусть же!

Все могилы под башней еще раз тяжелым бетоном зальются, подземные склепы сплетутся железом, и на городе смерти подземном ты бесстрашно несись.

О, иди,

И гори,

Пробивай своим шпилем высоты,

Ты, наш дерзостный башенный мир!

РЕЛЬСЫ

Всюду прошли, залегли, пробежали, кругом опоясали землю тяжелые, крепкие рельсы.

Быстрой стрелою порой поднимаются, в глуби туманные вдруг окунаются, пламенем белым блещут-загораются в тихих равнинах-степях.

Загудят, запоют заунывно по свету, тоскуют в ущельях холодные рельсы.

Говорят и звенят по лесам перепевом далеким больших городов.

И рокочит, рыдают схороненные, запертым эхом колес силачей-паровозов по горным, наполненным тьмою туннелям.

Песни и звоны стальные для одних хороши и вольны, другие боятся их: говор и бой закаленный пугают.

Ох, иногда загрустит и замечется скованный рельсами мир!

Но приходит задуманный в битве, рожденный в огне, из-под молота взятый, машиной вскормленный и гулом заводским взлелеянный, вечно растущий работник-творец.

— Легким, свободным полетом вздохнет.

Гордо голову к далям еще не пробитым подняв, вдохновится и скажет:

— Дивно я сжал мою землю-планету стальною, прокованной волей. Дерзко на бой вызывал я земные, когда-то ужасные, злые стихии; я их победил, приручил, заковал.

— Пробивай же еще, отточенным резцом прорезай непробитую жесткую даль.

— Твердый металл закали, отшлифуй, доведи, огня из схороненных глубей земли принеси и грянь своим молотом верным, зубилом заправленным метко вонзи и пытливую мысль в неизвестное взвей.

— Ты погибнешь?

— Умри хоть с одним покоренным безумным желаньем! Пусть не ты воплотил, но порывы труда боевого другим передай.

— Все пытайся ковать и ковать, все пытайся тяжелые рельсы стальные поднять и продвинуть в бездонных, безвестных, немых атмосферах к соседним, пока не разгаданным, чуждым планетам.

— Нельзя?

— О, много погибнет... Умрут без числа... Но я знаю, уверен: скуют, опояшут вселенную быстрыми, сильными рельсами воли.

То-то родится в усилиях железных, то-то взойдет и возвысится, гордо над миром взвьется, вырастет новый, сегодня не знаемый нами, краса-восхищенье, первое чудо вселенной, бесстрашный работник — творец-человек.

КРАН

Земля задрожит... Приготовьтесь.

Многие годы, века строили мы кран.

Его станина была целым городом камня и стали. Под ним глубоко оседали толщи земли, заставляли вздрагивать работников и в душе оставляли ожидание силы, неизведанной силы.

Мы стали смелее, и мириады замыслов рождались каждый день у строителей.

Кверху неслись один за другим угольники, брусы и скрепы; кран вырастал, в воздухе понеслась горящая поэма о металле, слышался голос, идущий из земли через брусы за облака, к звездам; звезды и весь купол вселенной дрожали, замирая от чуда, готового разразиться, ослепить неработавших и открыть новые глаза работающим.

— Кран готов.

Подняли судно из моря, затонувшее сто лет назад и затянутое илом океана.

Подняли железный виадук и перенесли водопроводные башни с одного берега реки на другой.

Кран все рос, все смелел, горделиво возносился над землей и металлически шумно дерзил своей растущей силой.

По временам у него из-за плетеных балок и брусьев смотрели глаза, полные дальнего замысла.

И тогда-то в людских толпах загуляли восторженные легенды и повести о будущих подъемах, и еще бóльших, о тяжелейших.

Был разобран город и переправлен через океан.

Америка готовила для Европы целые новые государства из бетона и металла, кран их разбираал, поднимал, переносил.

В Азии транспортным постройкам помешали Гималаи... Никто и не подумал о туннелях: краном приподняли весь горный кряж и низвергли его в индийские болота.

Кран все это перенес, осилил.

Конечно, не даром. У него были свои стоны, заглушавшие рыдание океанов и непогоду.

Напряженный металл крана грелся, горел, преображался. Весь кран слился, спаялся, нашел в себе новую каленую металлическую кровь, стал единым чудовищем... с глазами, с сердцем, с душой и помыслами.

Он дружески заразил своими железными думами миллионы строителей-работников.

И кран, и человеческий миллион небывало, невиданно задержали.

Мятежи мысли загуляли по земле.

Что нам затонувшие суда, рухнувшие
виадуки, вокзалы, города и государства?
Что гиганты-горы?

Мы тронем... землю.

Мы испробуем.

Мы испытаем!

Пусть несутся быстрее эти дни мучительного мирового нетерпенья. В разных концах земли мы все думаем-думаем за железное дитя нашей планеты. Наша дума — удары, тоска и мученье — нажимы, подъемы и спуски.

Мы укрепим кран не на земле, а рядом с ней, магнитными токами укрепим его в эфире.

И, да! — мы исполним грезу первых мучеников мысли, загнанных пророков человеческой силы, великих певцов железа. Вавилонским строителям через сто веков мы кричим: снова дышат огнем и дымом ваши порывы, железный жертвенник поднят за небо, гордый идол работы снова бушует.

Мы сдвинем, мы сдвинем нашу родину-землю.

Эй, вы, тихие потребители жизни! Разве вы не видите, как неудобно посажена земля, как неловко ходит она по орбите? Мы сделаем ее безбоязненно-гордой, дадим уверенность, пропитаем новой волей.

Так не пугайтесь же, непричастные к работе, чуждые стройкам, не пугайтесь наступающих жутких мгновений.

Среди белого дня пройдут страшные
ночные тени, рушатся храмы и музеи, раз-
двинутся горы, пронесутся непережитые
ураганы, океаны пойдут за материки, солн-
це может показаться на севере, мимо зем-
ли промчатся новые светила.

Может быть, для атеистов проснутся
боги Эллады, великаны мысли залепечут
детские молитвы, тысяча лучших поэтов
бросится в море...

Но пусть!

Мы сделаем великую пробу созданной
силы.

Земля застонет.

Она... зарыдает.

Пусть!

Риск мы берем на себя. Всем своим
миллионом мы верим в удачу.

Мы заранее ликуем и трубим.

И работу начнем уже с маршем победы.

БАЛКИ

Говорят, что железо бездушно, машина холодна и бесстрашна.

Но послушайте, что было со мной в эту ночь.

Я пришел на завод, как всегда, за десять минут до гудка. За пять минут я уже должен быть там, наверху, на кране.

Переоделся, вошел в будку и начал работать.

С одного конца завода на другой надо было перенести несколько паровых котлов, десятка три строительных балок и пять платформ с бандажами.

В заводе пахло сыростью, было неуютно, бесприютно, не совсем светло, а главное, весь он казался слишком чужим, жестоким.

Я уже включил контроллер, чтобы пригнать кран к подъездному пути в завод, а мысль все кружилась в холоде жизни, где мрут голоса, гаснут улыбки, тонут рыдания. Двадцать лет, как я уже не слезаю с будки и сверху смотрю на завод.

Внизу копошатся люди, грязные, пронизанные копотью, кашляющие, сплошь больные ревматизмом. Многие из них по-

стоянно работают в сырых бетонных канавах и, кажется, готовят себе прочные, просторные могилы... Я не слышу слов в низком гуле говора, который иногда несется из траншей...

Но сегодня я услышал голос только что поступившего, но уже надорвавшегося рабочего:

— За что?

Я ясно слышал, как голос ударился о кованые стропила, прозвучал по сводам и, не найдя дорогу к небу, разбился, рассыпался в прах...

Тут же я увидел, как застыл взгляд того, кто спрашивал. Он сделал угрожающий взгляд кверху, плюнул в свою собственную могилу и замолк. Похоронил свой порыв, вытравил душу. Он замолк навсегда.

Дальше, я смутно помню, как таял говор, меркли огни, опускались своды.

— Товарищ, товарищ!

Кричали бешено. Кричали сто голосов хором (на весь завод):

— Товарищ, очнись! Очни-ись!

В тумане летели виденья, голоса застигались непонятными туманами, кружилась голова.

— А ну! А ну! — неслоь снизу.

Я очнулся.

В правой руке нестерпимая боль. Рука сжимала выключатель контроллера и отекла от холода металла.

На кране висел напряженный вагон. Он стоял на высоте трех сажен над канавами и, видимо, наводил страх на товарищей. Все бросили работать, все смотрят ко мне вверх.

Я теперь ясно слышу, как они испуганно говорят, что весь мост прогнулся чуть не на пол-аршина, тормоз не держит, цепь скользит, проволочные канаты трещат. Наконец кто-то уверяет, что видит, как накренились верхние рельсы под тележками, дрогнул завод, дребезжали окна...

Вагон падает...

Моя рука уже держала контроллер. Надо было одним движением передать мотору и внезапную поспешность работы и необходимую постепенность включения...

Я начал...

Вагон дрогнул, чуть приподнялся еще выше...

Вдруг раздался треск, послышалось роковое вздрагивание тележек, запахло гарью, промчались полосы зеленых электрических вспышек.

Я весь готов к удару, катастрофе, но продолжаю тихо, последовательно включать. Я весь в схватке с надвигающимся ураганом огня и металла.

Товарищи замерли.

Тишина иногда бывает слышна, и я почувствовал, как онемел завод — и железо, и люди.

Товарищи смотрят на меня и на кран, и я во власти этих глаз, полных единого желания, мигающих одним общим тактом.

Я чувствую, что не оторвать руки от ключа контроллера, — и включаю, включаю.

Глаза товарищей мигнули тревожным перебоем: видимо, все рискнули за меня, уже смотрят дальше, выше; и я, наконец, перевел на последнее положение.

Еще раз взрыв и фиолетовые вспышки... и достиг! достиг!

Вспыхнул новый свет, весь завод залили световые бассейны.

И когда вагон при свете верхних фонарей, как птица в свободном лёте, понесся к дальнему краю завода, — весь завод вырос, встал легким, воздушно-стальным миражем.

А все люди послали ему одним и тем же жестом один привет, привет фонарям, камню и стали.

Мне было радостно за завод, за этот редкий праздник работы, за милую, близкую толпу товарищей.

Я, как сейчас, вижу, — товарищи внизу опасаются вместе со мной, радуются победам движения, я слышу, как они называют мой кран «батюшкой», а про завод все вместе сказали: «Выдержит, голубчик!»

Они быстро угадывали движения крана, и, видимо, по их мускулам враз пробежал мгновенный ток опасности и радости.

Но не забыть мне последнего, когда кран подошел к самому концу рельсов и

даже слегка стукнул о конечную поперечную балку — победа! — вся толпа продвинулась вперед, улыбнулась одной улыбкой, выставила вперед свою грудь, казавшуюся великой и единой, и взмахнула руками.

Я невольно оглянулся вверх.

Завод стал еще светлее, легче. Стропила раздвинулись. Железная арка поднялась еще выше и стала теснить небо. Я расправил руки и вместе с заводским простором, светом и размахом почувствовал, как растет несокрушимым кряжем моя спина, все тело просит небывалого взмаха, полета, а толпа внизу была пропитана такой железной силой, что ее взгляд казался огненным.

Началась песня, хоровая, неизвестная, новая, гимн, тревожный, как взрыв, и могучий, как гул чугунных колонн. Толпа двигалась с песней по заводу, и нельзя было понять, где кончались напевы работников и начиналась металлическая дрожь великана-завода.

Завод превращался в светлое чудо: мы заразили его говором и пением, торжеством своим. И наша судьба стала судьбою железа.

МОЛОТ

Вот ночь невиданная.

Рабочие кварталы первый раз шумели так весело.

Во всех клубах, читальнях, союзах, всюду шли приготовления к новогодней встрече.

Тысяча рабочих поэтов готовили новые стихи и поэмы, оркестры разучивали новые танцевальные марши, летучий хор должен был на автомобилях объездить все клубы и захватить молодые рабочие массы победным гимном.

«Лига пролетарской культуры» выбилась из сил, чтобы обставить светом, музыкой и пением все залы рабочих районов.

Но главный замысел «Лиги» был не тот. Ровно в двенадцать часов ночи с одного из крейсеров дается залп из крупных орудий. Вечера и концерты на полуслове, на полутоне должны всюду в одно мгновение оборваться, и к часу ночи черные толпы трогаются к «Рабочему дворцу». Маршрут ко дворцу был обозначен по улицам красными световыми гирляндами, идущи-

ми со всех концов города. Горящие цветочные красные линии шли по главным артериям и у самого дворца поднимались кверху на его отточенный гордый шпиль. Сам дворец утопал в непрестанных фонтанах ракет и их взрывах. Лавы людей сразу осенялись морем огненного водопада и бури и уже не шли, а бежали к своему дворцу, ожидая чудес и небывалых ночных грез. Наверху, над зданием дворца, ракеты построили огненное сияние: над громадой домов подымались одна за другой огненные птицы с расправленными крыльями и, достигнув отчаянных высот, разрывались на тысячи звезд и искр с призывным и радостным пением. Когда рабочий город подойдет всей миллионной массой ко дворцу, игра огней и музыки превратит дворец в светлый воздушный призрак... С крейсеров грянут новые безумные залпы. Толпа входит во дворец с четырех сторон в радостных новых одеждах, с верхних хоров ударят двадцать оркестров, и бурные танцы радости начнет весь многотысячный зал. Оркестры потом мгновенно оборвутся, танцы застынут, и по воздуху, поднимаясь в куполы дворца, пройдут лучшие ораторы всего света, за ними поэты и музыканты, а потом зал опять утонет в новых радостных плясках. Пляски будут оборваны опять... Среди зала встанет привидение: человек-великан, серьезный, как прошлое, смелый, как будущее, и зашагает по праздничным толпам...

Прямо к главному выходу...
Прямо к востоку...
И скажет:
— Солнце, взойди!
...Солнце взовьется и расплавит последнюю ночь старого года...

В ночь света, пения, волшебного веселья я должен был пойти на работу в завод. Ни во дворце, ни в малых залах я быть не мог.

Весь путь к заводу по подземной дороге я думал о сказочном дворце.

Со станции к заводу некоторое расстояние пришлось идти пешком.

Завод был темный, неосвещенный.

Только что я прошел шагов двадцать, как со мной начало твориться что-то неладное.

Завод стал пошаливать...

Корпуса были те же, но они выстроились тяжелой, мрачной толпой и шли на меня черным наступлением. Корпуса росли, как гигантская скала в неведомом море, и неотступно грозили мне, грозили задавить, уничтожить.

«Врешь! — подумал я. — Не на таких напал. Я ведь был под твоими сводами... стучал. Я тебя понимаю, я тебе сродни».

И прибавил шаг.

Завод вырос до неба, крыл звезды и все шел на меня.

Наступила решительная минута.

Колебаться — значит погибнуть.

— Здорóво! — крикнул я в тот момент, когда стены корпусов уже наседали на меня. — Здорóво же, дружище!

Открыл дверь, сразу включил штепсель и осветил входные ворота.

Этап пройден.

Наскоро разделся и тут же подумал, что в заводе тоже есть своя дьявольщина, железное наваждение.

Что-то очень недурное и забавно-громадное должно родиться под этими балками и трубами.

Двери распахнулись, и в течение пяти минут вошла вся ночная смена.

Несколько моих милых приятелей и соседей по работе здорово смеялись.

— А великолепная, знаешь, чертовщина лезет в голову, — обратился один из них ко мне.

— Да, по временам в этом ковчеге и жутко и любопытно.

Третий товарищ, мало еще мне знакомый, счел долгом кинуть нам обоим:

— Уж если сходить с ума, ребята, так давайте все вместе.

— А ну-ка, за работу. Авось эта дурь-то выйдет.

Двадцать горнов мигом зажглись, двадцать фиолетовых огненных вееров взвились вдоль стены нашей кузницы. Открыли цементировочные ванны, и вместе с гулом по заводу разлился шепот жидкой лавины.

Как по команде вышла шеренга сварщиков. В белых асбестовых костюмах они пролезли под старые котлы, раздались один за другим легкие взрывы паяльных трубок, и громадная мастерская сразу потопила весь говор и смех.

В нашей кузнице все шло как надо.

Но приходили из других отделений новые товарищи, смотрели на часы, кратко перебрасывались фразами и показывали на дальние механические кузницы и котельные мастерские.

Черт положительно не давал нам покоя...

Наконец не выдержали и побросали работу.

Всей мастерской мы хлынули к громадным дверям дальних отделений.

Отворили их. Слушаем.

— Ше-ве-лит-ся! — прохрипел старик.

— М-м... пыхтит... — испуганно отойдя от двери, проговорил другой.

Но юркие молодые ребята набрались храбрости и отмахнули обе двери.

Перед нами раскрылась черная пропасть неосвященных мастерских, безлюдных и холодных.

Изредка, как метеоры, пробегали искры и проносился нечеловеческий вздох.

Как раз в это время слышались залпы с крейсеров.

Они было произвели впечатление.

— Пустяк.

— Хорош пустяк... девятидюймовый...

И черные мастерские опять съедали наше впечатление.

Там начиналась возня.

Мелькнула тень.

Вырвались искры.

Необъяснимая ночная жуть во всем воздухе. Но оторваться мы были не в силах. Тут было нечто очень наше, очень родное.

— Сейчас будет что-то скандально-интересное.

Товарищ не успел закончить фразы, — дверь механической печи открылась, вырвались огненным градом искры, и из печи быстро выплыло огненное чудовище, на которое нельзя было смотреть, но которое наполнило завод озером света.

Спустился кран и безудержно поволок двадцатисаженную огненную колонну к станинам молота, стоявшего в заводе без движения целое десятилетие.

Почти никто на заводе не знал ударов этого молота.

Колонна грузно рухнула на наковальню. Молот так зашипел, что, казалось, звук этого шепота идет отовсюду: со стен, с высоких железных крыш, из подземелья, где шли друг на друга маховики машин, и из дальних мастерских, разбуженных ночной возней.

Успели лишь включить электричество, быстро два раза прогудел свисток при молоте, и стальная громада неистово бацнула раскаленную колонну.

Пол затрясся, сверху сорвались сразу несколько десятков фонарей и вдребезги разбились, за ними рухнули верхние стекла крыши, стропила хряснули, и казалось, сейчас раздадутся и задавят весь завод, по мостовым балкам пошел гул, как от дюжины промчавшихся поездов, каменная кузнечная пристройка к заводу дала трещину, и толпа подалась в ожидании катастрофы.

Все ждали, что будет с заводом. Но молот после маленькой паузы грохнул опять, грохнул и сатанински зачастил своими ударами.

Завод подавался и наполнялся железным буйством.

Люди от этого грома должны или перепугаться насмерть, погибнуть, или уж вырасти, как никогда...

Не умер, однако, никто.

Через пять минут уже забыли о разбитых фонарях и об обвалах.

Казалось, уже наоборот: если бы из души отнять этот гром, то надо его снова родить, родить во что бы то ни стало.

Молотовой гром становился сильнее. Колонна хотя и медленно, но стыла; удары шли всё жестче и трясли мощнее. Кран грузно переворачивал колонну и подсовывал под молот, молот обрывался и судорожно бил своей громадой лежащего красного великана.

А завод начал наполняться новой толпой.

Из города пришли с тревогой, с жалобой, с ужасом.

Пострадали десять окрестных кварталов. Всюду были выбиты окна от сотрясения земли и воздуха.

В «Рабочем дворце» рухнул потолок и хоть никого не убил, но наделал немало несчастий.

Толпа входила и заполняла заводские мастерские. На минуту казалось, что собираются тысячи, чтобы притянуть к ответу страшного ночного стального колдуна.

Когда колонна была прокована и кран отнес ее в приготовленное ложе, из толпы вырвался настойчивый крик: «Да объясните же!»

Крик был подхвачен...

На станину молота по лестнице моментально поднялся один из наших, в синей блузе, и уже поднял руку для жеста, как его перебили:

— Имя, фамилия! Откуда?

Перебили и сами замерли, ждут ответа.

— Строительный слесарь я... Фамилия моя Васильев. У нас на заводе Васильевых триста двадцать пять... Я — один из них...

— По существу говори!

— Начинаю по существу. Этот молот, на котором я стою, одна из лучших трибун всего света. Я вам объясню, слушайте.

— Десять лет тому назад этот молот прибыл к нам на завод. От вокзала до завода было тогда версты четыре по разным ули-

цам и переулкам. Нашей железнодорожной ветки тогда еще не было. Надо было молот двигать с «Дубинушкой». Вот эту станину мы двигали три месяца и днем и ночью. Целое лето мы не давали спать нескольким кварталам. Припевы к «Дубинушке» были не особенно приличные, и вся знать из нашего района перебралась из-за этого на дачи...

Устанавливали и собирали молот два месяца.

Мы его испробовали.

Он ударил один раз, разбудил всех спящих, выбил окна в домах и повалил колокольню.

Нам больше не дали ковать...

Но, знаете, — время пришло.

Пришло время торжества.

Вот первая колонна нашего здания.

Эта колонна будет всажена в землю. Надо еще отковать двадцать таких колонн. В глубинах они будут опираться на бетоны. На колоннах вырастет непоколебимое здание... Для него не будут страшны не только удары: здание не будет разрушено даже землетрясением...

— Что за здание, черт возьми? — не утерпели в толпе.

— Здание наше — Рабочий дворец.

— Но вы же вашим чертом-молотом разбили потолок нашего дворца.

— Чудаки. Вы ошиблись, вы поторопились. Рабочий дворец — вот он, вот этот

великан-завод. Но вот что: я слово передаю... ему, вот этому оратору.

Он дружески похлопал рукой по станине молота и быстро спрыгнул по лестнице в толпу.

Жерло печи открылось как занавес... Печь изрыгла новую, раскаленную добела колонну. Подхваченная краном, она поплыла по заводу, затопив его градом искр и сразу накалив его воздух.

Кран положил колонну на наковальню, и молот опять начал тешиться своими лязгами и ударами.

Первые клокоты кончились.

Сейчас разразятся новые удары.

И люди насторожились. Весь завод заковала тишина, у всех замерло сердце...

Молот срывался, и у всех освобождался вздох.

Молот выпускал лишний пар, и все мы через радостные перебои сердца отдавали жадно захваченный воздух.

Был момент, когда колонна чуть было не рухнула: мы знали, что пожар всего здания был бы неминуем, мы тогда ничего не видели, кроме молота. За него, за его железные замыслы мы думали, за его удары чувствовали, мы с ним вместе верили, вместе с его тревожным дрожанием мы надеялись. И когда перед ударами вызывающе блестели его цилиндры, казалось, — весь завод пронизывался новой металлической волей, и среди железных громад и над человеческой толпой молот

рос, угрожал, строил замыслы... Молот все передумал, он все рассчитал, он... перемучился за свои удары.

Перемучился и... ринулся.

От размеренного удара он перешел к рокоту, удары догоняли друг друга и перешли в непрерывный гром.

Завод как будто тронулся...

Толпа встала в торжественные шеренги.

Отряд молодых женщин вышел вперед с зелеными хвоями и разбросал их кругом по заводу. Дети поднялись на балки и стропила и закружились воздушными хороводами. Горны подняли огненные веера на сажень кверху и приоткрыли невиданные театры, по рельсам въехали в завод, задыхаясь, локомотивы и паровозы, остановились как вкопанные и своими гудками грянули гимн, который был слышен за десять верст.

Вся черная громада, вся тысяча тысяч подняла руки кверху и кричала наперебой: «Поэта, поэта нашему оратору!»

Быстро спустился кран.

Перевернул колонну.

Она забрызгала раскаленным металлом.

В заводе бушевал новый день...

Молот замолк.

А крейсера открыли новую беспримерную пальбу.

«МЫ ПОСЯГНУЛИ»

Кончено! Довольно с нас песен благочестия.

Смело поднимем свой занавес. И пусть играет наша музыка.

Шеренги и толпы станков, подземные клокоты огненной печи, подъемы и спуски нагруженных кранов, дыханье прокованных крепких цилиндров, рокоты газовых взрывов и мощь молчаливая пресса — вот наши песни, религия и музыка.

Нам когда-то дали вместо хлеба молот и заставили работать. Нас мучили... Но, сжимая молот, мы назвали его другом, каждый удар прибавлял нам в мускулы железо, энергия стали проникла в душу, и мы, когда-то рабы, теперь посягнули на мир.

Мы не будем рваться в эти жалкие выси, которые зовутся небом. Небо — создание праздных, лежачих, ленивых и робких людей.

Ринемтесь вниз!

Вместе с огнем, и металлом, и газом, и паром нароем шахт, пробуруем величайшие в мире туннели, взрывами газа опу-

стошим в недрах земли непробитые страшные толщи. О, мы уйдем, мы зароемся в глуби, прорежем их тысячью стальных линий, мы осветим и обнажим подземные пропасти каскадами света и наполним их ревом металла. На многие годы уйдем от неба, от солнца, мерцания звезд, сольемся с землей: она в нас и мы в ней.

Мы войдем в землю тысячами, мы войдем туда миллионами, мы войдем океаном людей! Но оттуда не выйдем, не выйдем уже никогда... Мы погибнем, мы схороним себя в ненасытном беге и трудовом ударе.

Землю рожденные, мы в нее возвратимся, как сказано древним, но земля преобразится: запертая со всех сторон — без входов и выходов! — она будет полна несмолкаемой бури труда; кругом закованный сталью земной шар будет котлом вселенной, и когда, в исступлении трудового порыва, земля не выдержит и разорвет стальную броню, она родит новых существ, имя которым уже не будет человек.

Новорожденные не заметят маленького, низкого неба, потерявшегося во взрыве их рождения, и сразу двинут всю землю на новую орбиту, перемешают карту солнц и планет, создадут новые этажи над мирами.

Сам мир будет новой машиной, где космос впервые найдет свое собственное сердце, свое биение.

Он несется...

Кто остановит пламя тысячи печей-солнц,
кто ослабит напор и взрывы раскаленных
атмосфер, кто умерит быстроту махови-
ков-сатурнов?

Планеты бешено крутятся на своих осях,
как моторные якоря-гиганты. Их бег не
прервать, их огненные искры не залить!

Космос несется...

Он не может стоять, он рождается и умирает,
снова рождается, растет, болеет и опять
воскресает и гонится дальше...

Он достигает, он торжествует!..

— Упал, упал!

Тонет... Отчаялся...

Но огонь плавит всё, даже тоску, даже
сомнение, даже неверие.

И снова жизнь, клочкотанье, работа!

Будет время, — одним нажимом мы
оборвем работу во всем мире, усмирим
машины. Вселенная наполнится тогда ра-
достным эхом труда, и неизвестно где
рожденные аккорды зазвучат еще о боль-
ших, незримо и немыслимо далеких гори-
зонтах.

И в эту минуту, когда, холодея, будут
отдыхать от стального бега машины, мы
всем мировым миллионом еще раз, не то
божески, не то демонски, еще сильнее,
еще безумнее посягнем!

«МЫ ВМЕСТЕ»

Я живу в самом лучшем городе мира. Работаю в самом большом знаменитом заводе. Но утром, когда я еду воздушной дорогой с одной окраины города на другую, я вижу над этим городом бóльшие города, а в городах бушуют и ревут невиданные фабрики и заводы.

Чьи они? Эти города, машины, железные пути и поднебесные постройки?

Я не могу прочесть издалека ни одной вывески, но из поезда видно, как мои товарищи, одетые в голубое, белое, коричневое, работают тысячами около тысяч машин, верстаков, тисков и сооружений.

А в стороне, где шумит город-проспект наших владельцев, всё играют, всё играют, всё кутят.

Они играют и проигрывают миллионы.

Мы едем по мосту, пересекая проспект.

И из вагона целой толпой кричим им в заплывшие лица:

«Продолжайте, господа!»

Они гордятся и говорят друг другу речи, пишут стихи и поют хвалебные дифирамбы. И все про то, что эти заводы, горы

угля, дороги, это все — их, это принадлежит им... Они ликуют от радости.

А мы опять:

«Продолжайте, господа!»

Наш поезд мчится. Нам хочется еще быстрее рвануться вместе с ним к заводам.

Мы входим. И первый наш привет, первый радостный салют — им, нашим друзьям, светлым машинам.

Они улыбнулись, вздрогнули. Крикнул гудок, и начался вихрь работы.

Завод все расходился, расправлялся, собирал силы, в работу входили новые станки и люди, входили и солисты и хористы, поднимали всё выше, всё настойчивее железную бравату завода. Грянула песня и помчалась в выси.

Кажется, что завод уже невесомый, он легкий, он бегущее привиденье, оторвался от земли, несется от горизонта к горизонту и все, что есть на пути: тоскующие поля, тихие селенья, молчащие города, — всё разит, всё разносит и колет, наполняет спящие равнины канонадой молота и мотора, заставляет перекликаться вечно немые горы, заливаает пропасти озерами света и, весь полный своей стальной непобедимой гордыней, угрожает стихиям земным... небесным... мировым, и трудно понять, где машина, где человек. Мы слились со своими железными товарищами, мы с ними спелись, мы вместе создали

новую душу движенья, где работник и станок неразрывны.

И уж если наступает, то железо, орудия с нами.

Несутся потоки, мчатся ураганы стального движенья, уверенно бьются за будущее и рождают непобедимые замахи и всё растут, всё растут.

И вдруг завод на минуту замолчал, замер, и мы, работники, встали перед ним нашей человеческой толпой и крикнули громаде застывшего металла:

«Где ты? Ты с кем?»

Мы кричали внизу, а эхо нашего голоса загуляло вверху металлическим гулом; человеческие слова родили железную песню, заставлявшую дрожать людей, и лишь только опустились и растаяли гулы, как снова поднялся и взвился к небу стальной хоровод станков; ближе к земле завод гремел неслыханными обвалами жизни, а вверху дерзкие штормы машин отбивали свой решительный ритм:

«Мы с вами, мы с вами!»

Без слов, без звуков, только в душе мы в последний раз вспомнили тех, что пируют на проспектах, и, вместо злобных проклятий, с улыбкой кинули в сторону:

«Так продолжайте же, господа!»

Сибирь спит, одетая белой парчой снегов. Тихо качаются белые зыби полей, замерла скованная тундра, стонет ровным стоном тайга.

Но в ночь под Новый год тихие сны Сибири обрываются, и мятежные светлые грезы бурно несутся от океана к океану, от Урала до моря Беринга.

Тревожно и жестоко колотят сибирские морозы. На необъятных равнинах, на поднебесных вершинах гор гремят и гудят гигантские молоты.

Строят, строят!

На полярном небе из ледяных гор встает огненный занавес северного сияния.

Занавес трепещет. Низко по горизонту ходят светлые тяжелые столбы. Силы подземных замыслов несут их кверху. Гаснут исполины колонны, идут друг на друга, теснят небо, жгут и светят на всю Сибирь лавой огненной энергии.

Миг...

Колонны дрогнули, побледнели, и из-за них вырвался необъятный прожектор, весь

готовый разлиться и затопить лучами и небо и землю.

Он ринулся! Ударил своими пламенными брызгами вверх, в холодных высотах зажег мираж облаков.

Минута—мираж зеленый, он смелая дума о будущем; минута—он красный, пылающий, он горящая верхняя мачта; минута—он фиолетовый, стальная закаленная воля к победе, работе, усилию.

Занавес бьется, пылает, волнуется.

За занавесом клокочет будущее.

Мгновенье...

Занавес взвился и растаял в небе.

Экспресс «Панорама» сорвался с уральских высот и реет к Кургану.

Курган, окруженный кольцом рельсов, разросся в город масла, хлеба, мяса. Его давно уже зовут «кухней мира». Курган—город крепкого и вольного сибирского народа, не знавшего крепостной неволи. Сибирский народ создал великий город своими кооперативами, которых тысячи; усилиями, которых миллион. В центре, на берегу реки—гордость Кургана: Народный дом. Он занимает четыре квартала. Здание выросло в десять этажей. Окна дома идут цельным, непрерывным стеклом от крыши до самой земли, и дом кажется одновременно и тяжелым и легким, как все великое. Надземную часть занимает кооперативный университет и кооператив-

ные центры. Внизу под землю идут тоже десять этажей, где устроен целый город масляных погребов. На дворе знаменитая курганская маслодельня, работающая бездымными газами-двигателями. Сепараторное отделение одето стеклянным футляром вышиною в двадцать сажен. По одному фасаду Народного дома проходит линия сибирской магистрали. Из вагона видна как на ладони вся чистота масляной работы. С воздушных экспрессов и платформ непрерывно делают снимки для реклам в «Народной газете». Газета — высшее создание сибирского гения. В ней нет ни одной бумажной клетки, которая не вышла бы из бумажного кооператива, в ней нет ни одной строчки, написанной и набранной не кооперативом. На углу Народного дома высится редакционный маяк, на котором днем и ночью горит слово «Единение». Маяк виден на добрую сотню верст, и из Европы часто поднимаются на уральские хребты, чтобы любоваться курганским великаном.

От Кургана экспресс мчится по залитым солнцем пашням, где все лето бороздят и ровняют поля стальные чудовища — машины. Необитаемая прежде степь и тундра стали житницей всего света. Всюду видна рука людей настоящего поколения. Ничто не говорит о минувших столетиях, об их раздольных, но ленивых песнях, об их сладостных, но пассивных молитвах. Вольные сибирские переселенцы создали

новый тип селений, идущих прямыми линиями в два ряда домов на сотни верст, и из степей создали тысячеверстный хутор, прорезающий быстрыми, смелыми линиями Сибирь с юга на север и с запада на восток.

Экспресс быстро тормозит, но пассажирам кажется, что он врезался в ватные стены. Мелькает новый город с тысячько заводских труб, выпускающих вместо дыма только несгораемые газы.

Это — «Сталь-город», который когда-то звали Ново-Николаевском. Поезд прыгает, ему надо миновать сотни три стрелочных переводов. Стальные пути идут вправо и влево, к югу и к северу — и все направляются к Оби. Обь плещет и бьет своим полным валом, но берега ее стиснуты гранитом, набережные скованы сетью подъездных путей. По обеим сторонам идут сотни подъемных кранов. Они вытянули свои стальные плетеные кронштейны и даже тогда, когда замирают после тяжелых речных нагрузок, кажутся руками гигантов, наступающих друг на друга с одного берега на другой. Сверху виден лес мачт океанских судов, которые давно уже ходят по углубленному фарватеру Оби. Это легкие пароходы компании «Барнаул—Канал», идущие от главных угольных центров Алтая к нефтяным районам Карских островов и Печоры, через Полярный канал и железнодорожные линии от Обдор-

ска. А вот грузные теплоходы компании «Сталь-город — Нарвик», рассекающие грозные бури Карского моря и полярные льды океана.

Экспресс влетает на железнодорожный мост через Обь. Этот мост со своими крепкими дамбами, широкими и длинными пролетами и тяжелыми башнями — гордость сибирских строителей.

Не проходит минуты, чтобы по мосту не мелькнул поезд.

«Сталь-город» — главный форт сибирской индустрии. Вечерет, и он встречает экспресс миллионом огней, то красных, что рвутся из окон тяжелой металлургии, то снежно-белых, как день, ровно идущих от механических заводов. В воздухе над городом целый гомон света и звука — это новая человеческая симфония огня и железа.

Заводы идут правильными рядами корпусов, кочегарки вытянулись прямыми линиями, — это тысяча горящих бронированных сердец «Сталь-города», черные гиганты-трубы угрожают самому небу. Частные здания идут квадратными кварталами: их плоские крыши соединены в одну площадь и образуют роскошный зеленый сад.

И все эти заводы, дома, башни, цистерны, мосты, элеваторы, рыбные погреба — анонимны, у них нет названий, они принадлежат компании и синдикатам, у которых нет фамилий, — голый капитал, без лиц, без фигур.

«Сталь-город» зовут машиной Сибири. Оттуда идут водные и железные пути на восток, запад, север и юг. День и ночь идут грузы с орудиями земледелия на север, где земельная обработка уже подходит к семидесятому градусу, на запад и восток идут двигатели для маслодельных заводов, мельниц, консервных фабрик, а на юг — к Алтаю — готовые части домен, краны, бурильные машины, трансформаторы.

От «Сталь-города» до Алтая идет непрерывная промышленная стройка; она начинается заводскими трубами, идет через жилища рабочих, переходит в заводы-домны и кончается черными подземными городами-шахтами.

Но дальше, дальше, по главной магистрали! Быстро минуем города без будущего. Они хотели быть острогами, но сами умерли как необитаемые тюрьмы...

Красноярск!

Это мозг Сибири.

Только что закончен постройкой центральный сибирский музей, ставший целым научным городом. Университет стоит рядом с музеем, кажется маленькой будочкой, но он уже известен всему миру своими открытиями. Это здесь создалась новая геологическая теория, устанавливающая точный возраст образования земного шара; это здесь нашли способ рассматривать

движение лавы в центре земли; это здесь создали знаменитую лабораторию опытов с радием и открыли интернациональную клинику на 20 000 человек. Но истинная научная гордость Красноярска — обсерватория и сейсмограф. Здесь записываются не только землетрясения, но все движение подземных огненно-жидких и паровых образований, публикуются их точные фотографии и диаграммы; и в течение последних десяти лет не было ни одного землетрясения в мире, которое не было бы точно установлено во времени и пространстве и предсказано Красноярском.

А вот прямо перед экспрессом точно растёт и летит прямо в небо блестяще-белый шпиль. Это Дом международных научных конгрессов. Его фасад усеян флагами государств всего мира, теперь там заседает конгресс по улучшению человеческого типа путем демонстративного полового подбора. Если нужно выразить научно-смелую идею, то всегда и всюду — в Европе и в Америке — говорят: «Это что-то... красноярское».

Там, на Енисее, высится мачта, на которой гордая надпись: «Красноярск — морской порт», но за ней на башне дамбы другая надпись: «Красноярск — верфь мира!» На север от моста больше чем на десять верст суда, всё суда. А по берегам, точно скелеты допотопных ихтиозавров, висят эллинги судостроительных заводов.

Экспресс, однако, мчится.

Иркутск!

Город транспортных сооружений, оптовой торговли, финансов, синдикатов, трестов, биржи.

Отсюда идут черные магистрали: одна врезается в сердце Китая, прямо на Пекин, она давно уже вооружила трудолюбивых земледельцев резцом и зубилом; другая идет к Владивостоку, интернациональному порту, вся жизнь которого рвется через океан к Колорадо и Нью-Йорку; третья — на Амур, к его дивным виноградникам и садам; четвертая — к северу, на Якутск, к разбуженной полярной стране.

Еще издали, верст за двадцать, с экспресса виден «верхний этаж» города, как называют воздушные платформы королей капитала...

Платформы укреплены на баллонах и поддерживаются непрерывной работой моторов. За десятки верст по ночам эти платформы посылают целые бассейны света к Байкалу, и на железнодорожные пути и в тайгу. Этим же светом, идущим параллельными лучами, затоплен весь город, который уже не нуждается ни в каком освещении — ни в уличном, ни в комнатном.

На воздушных платформах устроены станции радиотелеграфа и телефона; отсюда говорят и с материками и с океанами, отсюда по незримым волнам капитал правит уже не только Сибирью, но через

Владивосток целит в Америку, и кажется, над океаном временами ходят тучи, назревают небывалые грозы и прольются лавы не то стального, не то золотого дождя.

На платформах же находятся конторы и залы синдикатов с их краткими названиями: «Золото», «Радий», «Виноград», «Хлеб», «Полюс», «Огонь», «Кислород».

Сверху, с платформ, правят землей. И на что уж сильны были в Иркутске международная биржа и банки, но они сдались «платформам», и кнопки биржевой игры теперь нажимаются вверху.

Фоногазета «Платформа» выходит непрерывно круглые сутки и осведомляет обо всем весь мир. Она постепенно стянула все лучшие литературные и артистические силы и давно уже таксировала гонорары всех знаменитостей. Демократическая богема желчно острела: «Парнас переселился на „Платформу“».

Мы въехали на экспрессе в безбрежный океан света и движения, мы в урагане жизни воздушного города и вдруг... Тишина.

Только здесь, в Иркутске, узнаешь, какая потрясающая сила в тишине.

Это мы въехали в подземный центральный вокзал. Едем под городом. Бархатные тормоза, бесшумный выход газа из локомотивов, скраденный шелест грузовых кранов, схороненные в земле моторы, папковые и бумажные крыши и стены, от-

сутствие служебного персонала. Все делается автоматически, просто.

Множество кнопок, бесчисленные краны, к услугам публики всюду надписи и световые указатели. Но чаще — довольно только ступить ногами, чтобы бесшумно тронулся лифт и осторожно поднялась платформа или тротуар вокзала. И невольно пассажиры, загипнотизированные этой мощью молчащей постройки и беззвучного движения, говорят друг с другом не громко, шепотом. Нервные люди надземного города прозвали иркутский вокзал фоно-ванной.

Экспресс летит дальше. Его не остановили ни для высадки пассажиров — вагон с ними на ходу отделился, ни для почты — ее поймали и кинули, да ее так мало — все дается аэромашинами и радиотелеграфом.

Экспресс вынырнул из земли. Ему на встречу несется гул газетных рупоров и стереоскоп реклам. Но все они покрыты водопадом белого света, на котором фоногазета в воздухе черными буквами написала: «Три конгресса».

Деловые заседания этих конгрессов таят невиданную социальную схватку.

Конгресс сибирских трестов на одной из воздушных платформ решает прибрать к своим рукам интернациональный трест «Сталь»; синдикат «Руда», объединивший добычу Алтая, Саян и Яблоновых, давно уже подбирался к «Стали». Но силы мало.

Теперь он хочет поставить «Сталь» хотя бы под контроль союза синдикатов. Голосования конгресса вызывают биржевую панику во всем мире; еще минута — и радиотелеграф известит о сотне крахов и тысяче самоубийств биржевых дельцов: «„Платформа“ проглатывает „Сталь“».

Конгресс сибирских кооперативов, созванный Сибирским народным банком, над зданием заседаний выкинул тревожный аншлаг: «„Платформа“ душит кооперацию». Конгресс принимает героическое решение — закрыть свой рынок для синдикатских изделий и кредита. Устанавливается кооперативный лэбель.

Кооперативный запад Сибири поднялся против синдикатского востока. Кто победит: будет ли приручена кооперация и будет снизу ждать лозунгов от воздушных платформ или платформы рухнут, не устоят против западной мобилизации? На платформах не дремлют — там по телефону слушают прения конгресса, там радость: на конгрессе намечается раскол, алтайцы обвиняют курганцев в симпатиях к синдикатам. «Курган сам завтра будет синдикатом!» — крикнул один из алтайцев. Но кооперативный конгресс делает гигантскую ставку: он устанавливает миллионный штраф за нарушение лэбеля, штраф гарантируется районными союзами. Платформы демонстративно переносят центральную организацию в Курган...

Третий конгресс — рабочий международ-

ный съезд; это первые заседания Интернационала, когда прения ведутся на международном языке, который составился из комбинаций русского с американо-английским. Весь последний год во всех странах шли съезды и референдумы. И теперь Интернационал спокойно принимает решение за мировой рабочий класс: он решил биться за немедленное образование международного совета, который должен объявить себя собственником угля, хлеба, кислорода и огня.

«Интернационализация».

Слово произнесено...

Мир живет накануне новых потрясений, смелых жестов, дерзких вызовов.

Но неумолимый экспресс мчится.

Экспресс летит.

К Якутску.

Здесь от Иркутска к северу по всему материку идет однорельсовая дорога; местами рельс идет внизу поезда, местами вверх. Этому пути не страшны снежные заносы.

На Витиме стоит золотая столица Бодайбо.

По одну сторону ходят черные рабочие поезда и великаны-машины, бьющие почву и моющие золото; здесь пыль, грязь, сырость и стон... По другую сторону горят шпиди

домов золотой резиденции. На работу в Бодайбинский район согнаны китайцы, африканцы, индийцы, якуты, индусы, и сюда же доставлены партии закованных каторжан. Кто хочет знать, чем отличается рай от ада, пусть идет в Бодайбо и посмотрит сначала на один берег, потом на другой. Одно время в «раю» пронеслась тревога: заговорили о нападении на синдикат «Золото» со стороны «Руды», но государства не решились отступить от принудительного денежного курса, и «рай» опять зацвел, и опять появились золотые яблоки!..

Экспресс мчится сквозь горные хребты, катит с вершины на вершину.

Куда, куда ты летишь? Что это? Семафоры или звезды?

Экспресс в Якутске.

Не город, а сказка.

Его теперь часто зовут «карточным домиком». Кто был в Якутске в начале двадцатого века — не узнает его. Нет проток, нет болот, улетучились озера: все высушено, вымыто, прибрано. Город распланирован правильными домами, домами-кварталами, сделанными целиком из бумаги. Город рекламы. Якутск стал бумажным центром. Необъятная тайга вся скуплена «Бумагой», и теперь на бумажных фабриках в Якутске делают из бумаги газетные листы, мебель, вагоны, суда, дома и дороги. С тех пор как Америка и Азия перешли к бумажной стройке, все металлы задрожали за свою будущность. И, может

быть, этим объясняется, как легко иркутская «Платформа» расправилась со «Сталью».

От Якутска дорога к морю.

Охотск.

Здесь два чуда: искусственное озеро и аквариум, где хранится и культивируется рыба Тихого океана. Летом здесь функционируют рыбные погреба с температурой до двадцати градусов ниже нуля.

Дальше же, однако, дальше.

Город буржуазной неги — Гижигинск.

Зимой в Гижигинске собирается знать с платформ и занимается полярной охотой и спортом. Теперь у спортсменов нет высшего удовольствия, как гоняться на оленях, собаках, моторных санях по северной тундре и занесенному снегом океану. Летом в Гижигинске собирается цвет буржуазного общества для лечения в горячих источниках. И как-то не по вкусу пришлось королям золота, когда союз сибирских печатников построил в Гижигинске дом для своих членов — больных туберкулезом.

Еще несколько взмахов экспресса, и мы в новом городе «Энергия», основанном на пустом месте. Здесь скрещиваются двадцать железнодорожных путей, идущих из Камчатки. Все ее сопки давно одеты стальными и асбестовыми кожухами, жар земли собирается, немедленно трансформируется и переводится в энергию. Кам-

чатка, в которой нет ни одной квадратной версты без рельсовых путей, когда-то называлась кочегаркой мира: тогда здесь добывалось только тепло. Теперь «Энергия» переводит теплоту во все виды механической энергии.

Кто хочет видеть новые великаны строительного дела, кто хочет знать величие и мощь огня — пусть едет на Камчатку. Но туда должен поехать всякий, кто заинтересуется новой битвой «Огня» с «Углем». Это к «Огню»-то подбирался конгресс Интернационала в Иркутске. И носятся слухи, что заправила «Угля» экстренно установили высокие пенсии горнорабочим и шахтерам...

Между тем назревают новые битвы: по всему берегу Великого океана, по всей линии сопок, в Америке, в Китае, на Зондских островах началась постройка тепловых гигантов, и все они бросили вызов Камчатке.

А экспресс уже мчался от этой океанской драмы, взял курс на самый север и грезит новыми сказками.

Экспресс весь земной, весь человеческий. Он бурлит, он просит неслыханного стального топота, взмаха подземных кипящих морей, дыхания лавы.

Ох, он хочет прорезать всю землю, облить ее своим жарким дыханьем, отдать ей всю огненную страсть свою; он хочет

вселить в нее беса холода и беса жара и заставить их вечно биться, он хочет утопить человека в металле, расплавить маленькие души и сотворить одну большую; он хочет заразить камни человеческим говором, заставить мерзлую землю петь гимны огню.

И потом всё смешать, включить исполинские токи, дать волю, неслыханную по безумству и отваге, и самому умчаться дальше.

Дальше! На самые рискованные зыби, на край, на дальний-дальний край!

Город Беринга.

Он знает только два лозунга: «К полюсу» и «В Америку». На его дне воздвигаются новые города. Открытые залежи угля на дне океана теперь пока брошены и забыты: ведь «Уголь» дрожит теперь за свою участь. Но зато воздвигнуты настоящие хрустальные дворцы из морского янтаря. Система ползущих кессонов давно уже позволила подобраться к Северному полюсу снизу, водным путем. А завод, работающий для полюса в Беринге, мечтает о том, чтобы согнать снега с полюса, изменить направление теплых течений в океанах и смягчить весь полярный климат. Теперь в Сибири много говорят о грядущей революции земледелия и садоводства, и на стороне Беринга стоят сельскохозяйственные кооперативы и «Энергия» Кам-

чатки... Кооперативы говорят, что рабочий Интернационал не вовремя стал шутить с «Огнем», величайшие мечты Беринга могут застыть... Завязывается новая социальная схватка.

Экспресс же хоронит, хоронит скорее полярные бури. Ему тесно. Он несется к закруглению высокой насыпи, как развернутое верхнее знамя, рокошет по рельсам, с бушующей стальной песней влетает на мост, с моста в морской туннель — от Беринга в Аляску.

Постройка туннеля стоила двух тысяч жизней: полтысячи погибло от полярных холодов и полторы пожрал океан в подводных работах. Победа индустрии заставила весь рабочий класс одеться в траур. Но теперь уже нет границ между Старым и Новым светом. Туннель стал символом рабочего единения.

Перед туннелем у Беринга маяк. Экспресс мчится прямо на него.

Гигант, превосходящий все высоты земли и сделанный из бетона, металла, бумаги и льда, предохраненного от испарения.

Маяк направил свои прожекторы на экспресс. Экспресс вольно купается в красных, синих и белых лучах полярного смельчака.

Невольная дрожь охватывает пассажиров. Что будет? Кажется, что маяк все идет, все наступает к полюсу растущим памятником человеку, его движению, его воле.

Мгновение — и экспресс в туннеле. Тихий ровный свет, тихие тона красок... Но бурно и гулко дышат моторы, накачивающие воздух, и туннель дрожит, как стальной пульс, в спящих океанских водах.

Полчаса — и Америка...

Жизнь мелькает. Люди входят и выходят, умирают и рождаются, расцветают, отцветает весна, гибнут и снова воскресают надежды.

Светлый экспресс летит. Его дорога бесконечна, но и бесстрашие его безгранично. Порой он рушится с мостов в воду на всем ходу. Стоны, крики смерти... Но снова из глубин бешено вырывается неутомимый поезд, дышит пламенем, поет сталью, колотит и режет камни, врывается прямо в утесы, сверлит их грудью.

Он весь изранен, он полон горя, но, железно-суровый, он скрыл, схоронил в своем пламенном сердце всю боль небывалой дороги... и поет, мятежный, он поет совсем не о былом, совсем не о тяжелых надрывных часах, а о грядущих радостных подъемах и полных отваги и риска уклонах.

МОЯ ЖИЗНЬ

Велика в прошлом, бесконечна в будущем жизнь моя.

Много столетий я не запомнил. Помню лишь, когда ходил закованный и был связан к тюрьме моей — работе.

Это я двести лет тому назад бил и разбивал машины. Это я, еще весь человеческий, восстал против холодных недругов своих. Я отдал тогда всю страсть свою этому железному единоборству; я тогда призывал богов на помощь себе и все же в борьбе потерял не одну голову. Я отчаивался тогда и бросался на отточенные резцы машин, крошил их, но и сам бился в тисках металла.

Это я сто лет назад залил улицы мировых городов своей кровью и развертывал знамена со словами восстания и мести.

Это я же бился потом и терзал свое собственное тело по ту и по эту сторону границ.

И теперь опять я, и уже как будто вновь рожденный, иду в строю. Все проходит через мои руки и орудия. Создаю виадуки,

дороги, машины, микроскопы. Через пульс моего станка и штрих моей пилы я ощущаю самые сокровенные мысли.

Я—носитель беспощадного резца познания.

Всюду иду со своим молотом, зубилом, сверлом. По всему миру... Шагаю через границы, материки, океаны. Весь земной шар я делаю родиной.

Стою перед рабочим домом в Берлине. Стою и восторгаюсь: вот мой громадный, мой тяжелый, неуклюже-сильный дом. И все в нем мое: и входная арка с высеченным молотом, который рвется из камня и просит песни, и наковальня на столе секретаря, и шеренги товарищей, идущих взад и вперед.

Вхожу в кооператив в Манчестере и дрожу от радости: мое! Рожденное вдаль, но по созвучью с моим, близким.

Я под сводами парижской Биржи труда, прокопченной и черной. Сначала чужая, выстроенная на чужие, нерабочие деньги, она стала наша, и ее прокопченные стены сделались символом надорванной усталой силы.

Несчастье... Яма, могила... На юге Африки взрыв. Тысяча жертв. Это—удар, это... мне удар... в самое сердце.

Бездымные шахты, покрытые пеплом... Это—на краю света памятник моему раненому, моему мировому сердцу.

Умерло мое вчера, несется мое сегодня и уже бьются огни моего завтра.

Не жаль детства, нет тоски о юности, а
только — вдаль!

Я живу не годы.

Я живу сотни, тысячи лет.

Я живу с сотворения мира.

И я буду жить еще миллионы лет.

И бегу моему не будет предела.

МЫ ВСЮДУ

Нас небольшая толпа.

Но мы всюду.

Мы избороздили тысячи верст по болотам, лесам и говорили с живущими в юртах. Мы им рассказывали много чудес о паромоходах и дамбах.

Ох, как они были довольны.

На прощанье мы им сделали идолов.

Таких, каких они просили.

Но в глаза мы всадили рубины, а головы идолам подняли.

Идолы смотрят через тайгу вдаль.

Туземцы обезумели.

По тайге и болоту зашумели новые песни.

«Надо выше поднять наших идолов. Идемте искать гор для наших богов», — запели живущие в юртах.

Вот смотрите: они идут с запада к востоку, к большим горам. Они верят, что найдут эти горы. Они взойдут на вершины и водрузят там богов своих.

Мы скоро убежали от них и не сказали им, что с восточных гор будет виден океан и Новый свет.

Мы бежали и в долинах нагнали полки солдат, идущих на битву. Мы, сорванцы, без шапок, в одних блузах, бросили их барабаны в воздух, оборвали команду, остановили армию: «Товарищи, стоп!»

Армия замерла, но не вышла из строя. Самый младший из нас схватил рубильник, который всегда носил с собой, и начал включать.

Армия снова пошла.

Миллион людей без барабана, без музыки шел в ногу.

Наш мальчишка крикнул им: «Верите ли вы, что пройдете со своим миллионом сквозь хребет, что растет перед вами?»

«Мы не верим, мы... Знаем теперь», — загремели старики солдаты.

А мальчишка радостно хохочет и кричит им, уходящим в гору: «Это я сделал из вашей груди железо, а из армии — великана-машину!»

Мы убегали от солдат и издали им пели:

«А винтовки ваши ни при чем!»

Через полчаса мы всей нашей тысячей летели в одном поезде через Европу и прямо правили на океан.

По пути всюду, особенно в селах и полях, нам выкидывали тревожные сигналы: «Остановитесь! Через океан нет мостов, и туннель еще не прорыт!»

Но мы были влюблены в свой поезд.

И что же:

Мы заставили весь мир поверить в железный призрак: поезд несся по воздушным рельсам.

Нас встретили миллионы товарищей в Новом свете.

Мастерские там тянулись на целые мили. В них делали всё, начиная с мостов и кончая оптикой.

Директора заводов собрали всех нас на митинг и говорили о новой индустрии:

«Мы гордимся Новым светом. Мы создали новую машинную пластику, недоступную древним. Мы создали работников, любящих резец и микрометр».

Директора знали, что мы по-своему привязаны к машине.

«Мы тоже приверженцы этого мира!» — крикнули мы к эстраде.

— Да? Попробуйте это доказать.

Мы не заставили себя ждать: наши молодые сорванцы в тот же вечер кинули из Чикаго депеши всему Старому и Новому свету, и на другой день во всем мире в одну и ту же минуту прогудели сирены.

Это была первая мировая музыка.

А теперь смотрите: есть ли уголок земного шара, где дремлют и не говорят о чудесах переворота?

НАШ ПРАЗДНИК

Мы хотели, чтобы наш выход из земли был чудом.

В подземные ходы мы заложили горы мелинита.

О, мы уверены, что взрыв был слышен на Марсе.

Земной шар застонал и бился в агонии. Весь мир на мгновение замер. Но через лаву, пепел и дым мы вырвались своим быстрым миллионом из подземелья.

Были бешены, рвали и метали. Залили целые мили нашей толпой.

В рабочих куртках, в синих костюмах, в нашем защитном индустриальном цвете.

Мы смеемся, мы молодо хохочем. Покрыли землю тысячью прожекторов. Пусть знают во всей вселенной: на нашей планете едут по миру посланники чудес и катастроф.

— Песни!

— Музыки!

— Оратора! — загремели было толпы.

— Ни песен, ни музыки! — заревели железные мосты и постройки.

Наши создания — башни, рельсы, виадуки — подняли гул:

— Мы просим слов, слов новых, вековечных... железных.

— На эстраду! На эстраду! — закричали мы.

Минута, и по воздушным рельсам, за небеса, выше гор, на неведомую трибуну мира помчался силач-локомотив.

Он несся, пылая...

Впереди он воздвигал молнии и радуги синего дрожащего света.

Радуги строились в небосклоны. Купола новых небес теснились друг на друга, в эфире вырастал лучезарный туннель и все манил, все манил нашего железного делегата выше, все выше.

Локомотив рычал, радостно стонал и бил по воздушным рельсам.

И чудо: он не уменьшался, он рос.

Железные лязги всё громче.

Каскады железного рева заглушали смерчи и бури, схоронили весь гомон ярмарок, заводов, военных снаряжений, заставили забыть землетрясения и вулканы.

Вверху гремел над нашими толпами агитатор труда.

Он бил по рельсам как по струнам.

С железного монблана неслась в наши рабочие толпы воздвигнутая нами поэма... восторженный крик машины, торжествующая песня кованого металла:

— Миллион!

— Мой отец и ученик мой.

- Мое дитя и родитель.
 - Я... угрожаю!
 - Твоим именем, стальной душой твоей, твоим смелым тслом, бесстрашным чудесным мозгом твоим, твоей пылающей улыбкой и железным замахом твоим...
 - Я угрожаю!
 - Ко мне, ко мне, миллион, твое внимание.
 - Я знаю, чего ты ждешь.
 - Ты хочешь переворота... катастрофы.
 - Я делатель, я автор катастроф!
 - Она — пришествие.
 - Она — крушение.
 - Провал миров.
 - Явление новых.
 - Но, миллион мой, ратник инструмента, мой гений рычага, мой друг.
 - Гордый и спокойный.
 - Я гремлю на весь мир твоим голосом и всему дрожащему, всему паническому грожу своим железным неумолимым расчетом:
 - Катастрофу я рассчитал до секунды и до миллиметра...
-

Тише.

Считайте секунды.

Огонь доходит до светопреставления...

Пар грозит безумьем взрыва и грохота...

Смотрите: на небе — манометр. Он по бедно говорит о решительном кануне.

Мгновенья...

Последние...

Локомотив мгновенно титанически и мятежно вырос.

Он восстал.

Рельсы загремели радостью и ужасом риска...

— Мальчик, мальчик, выключи!

Выключи.

Это пока репетиция...

— Сделано!.. — произнес малютка среди полной тишины и картавым детским голосом спокойно сказал:

— Теперь мы готовы к этому чуду в каждое мгновение.

ОТВЕТЕТЕ СРОЧНО!

Это было?

Котельщик из Дублина вышел на эстраду рабочего театра в Берлине.

Рабочую залу спросил:

— Хотите?

Буду ударять молотком по наксвальне.

И, во-первых, буду ударять ровно 60 раз в минуту, не глядя на часы.

Во-вторых, буду ударять так, что первую четверть минуты буду иметь темп на 120, вторую четверть — на 90, третью — 60.

И начал.

На экране за спиной котельщика вся зала увидела рассчитанный темп по первой работе и по второй.

Из залы высыпали 20 сорванцов.

Из них сделали первый номер¹.

На втором все сорвались.

Котельщик из Дублина был признан чемпионом клепки.

Это было?

Это будет.

Дежурный

¹ В автографе пропуск.— *Прим. ред.*



ВОРОТА ЗЕМЛИ

ОРАТОРУ

Оратор кончил, а мы ему всей толпой отвечаем:

— Нас целый новый легион. Мы несем тревогу всему миру, но ему же и радость.

Мы пришли с новой вестью, достоверной, как железо, и бодрой, как звуки мотора в пустыне.

Песен небывалых и сказок нерассказанных мы хотим.

Не тех пропетых, говоренных человеческих слов. Хотим выше.

Лязги молота и штампы, трепет приводов и трансмиссий, грохот кузниц, звон ударов, шепот пил — слова и призывы.

Ненасытный бег колес — наше знамя.

Мы их поднимем, возвеличим, механизмы!

Пусть же тревожней и выше загудят
валы.

Стремглав ударят миллионами рук куз-
нецы.

И прервут.

Прольется лавина чугунного грохота.

Дрогнет земля под паровыми молотами,
зашатаются города, стальные, машинные
хоры заполнят все пустыри и дебри рабо-
чим трепетом.

И прервут.

Помчатся огненные вестники подземных
мятежей.

И еще прервут зловеще.

Загогочут черные пропасти.

Выйдут силачи-чудеса-машины-башни.

Смело провозгласят катастрофу.

И назовут ее новыми днями творенья.

Оратор, замолкни.

Певучие легенды, застыньте.

Ох, послушаем, —

Заговорят возведенные нами домны.

Запоют вознесенные нами балки.

ВСТРЕЧА

Медленно...

Ох, грузно мы движемся,
С нами весь скарб наш —

Сто поездов с кандалами.

Погреба пыток.

Озеро гнилого пота.

Собрали всю кровь, опоясали землю и
провели кровавый экватор.

Трупный смрад миллионных кладбищ с
нами.

Прекрасные, великие командиры мира.
Мы всё торжественно несем с собой.

Вот улики.

Встать! Суд идет.

— Монахи. Попы. Проповедники.

Ваше слово.

Входите.

Ваш конвой из страшных чертей оставьте.

Херувимы, чудотворцы, немедленно в
огненные ризы, в огненные крылья. И
марш на небо.

— Монахи. Пузатые архиереи, ваше
слово.

Молчите?

— Приговор: в огороды, на сбор картошки.

— Императоры, большие, маленькие, живые, мертвые, наследники, короли, принцы.

Все в золотую шеренгу.

Кто из вас способен — к нам, в черно-рабочие.

Плата по тарифу.

— Финансисты, империалисты, дипломаты.

Это вы начали человеческую мясорубку.

Вот они, восемь миллионов могил двадцатого века.

Вот восемь миллионов кандидатов харкают кровью.

Глядите, вот миллионы сумасшедших.

К ответу!

Мы в черном, мы злые, мы зверски решительны.

— На кухню, — чистить и подметать отбросы.

— А-а-а-а...

Вы испугались?

Вы в новом белье.

Вы подготовились к расстрелу.

— Ну так знайте.

Начнем.

Наделаем триста тысяч глупостей.

Миллион ошибок.

Тысячу раз растеряемся по-детски.

Мы сотни раз явимся на торжественное собрание и прождемся сомнением.

И опустим руки.
И снова кверху.
Мы будем окружены своими...
И попробуем голод превратить в праздник.

— Чтобы не пикнуть.

Ни слова...

Иначе мы опять вас разжалуем из чернорабочих в монахи, императоры, дипломаты.

И скажем:

Вот.

Поезда с кандалами.

Погреба пыток.

Озера пота.

Кровавый пояс земли.

И кладбища, кладбища.

Всё перед вами.

Не мигайте.

И ждите.

Год.

Два.

Десять лет.

Но включим машину, и без сожаленья
загремит фортиссимо.

НОША

Монархисты, апаши, республиканцы, попы, спекулянты, рентьеры,— слушайте.

Воздух заряжен.

Приверженцы стального гула, партизаны удара, вожатые тяжелого подъема, строители высоких труб, творцы точного штриха.

Мы здесь во всеоружии.

Мы назовем вещи простые и обыденные, но торжественно скажем: вот чудо!

Мы хвалимся, черт возьми.

Наши повести знают миллионные пыльные толпы. О нас догадывается мировой труд.

Мы открыто на площади зажигаем печи.

Мы идем волнами: миллион на миллион.

Наши волны дышат сожжением.

Но они же гудят и созданием.

За темные столетия тоски.

За ваших богов и палачей.

За города смерти.

За государства нищеты.

Клянем.

И расплавим.

Мы — пока делегаты.

Мы вызов.

Но... загудим, и начнется.

ЧУДЕСА РАБОТЫ

Он рушится, он падает... мир.

В прошлое взглянем и кинем:

«Отрицаю!»

Миллионы взоров к будущему и громко, всем голосом:

«Строю!»

— Мы все на работе.

Дадим людскую шеренгу в сто миль на кряжах Урала.

Идемте стальной толпой по копиям Уэльса.

Грянем железный гимн под сводами заводов Рейна.

Трансваальцы, на горы!

Механики Чикаго, вы достроили чудовищный мост для канала. Пустите по нему поезд, — мост заиграет, как арфа.

А потом веселым маршем на сходку, на сходку мировую.

На лучшую площадь Европы.

Бежим, задыхаясь.

И ударьте хором: «Люди, гудки, клокочите, печи, пойте, каменные дамбы!»

— Отставить. Учитесь прерывать свой гомон во мгновение.

И кверху же руки, механики-рабочие.

— На полюсе созданы стропила. Выше гор.

Там волшебники...

Летом на полюсе нет ночей, черные стропила в синем свете играют, как призраки, ходят за небом и встают черным миражем над раскаленной Сахарой.

Сильнее... Сильней по стропилам.

Ломим.

Дымим.

Закаляем.

— Это дома. Дом на дом, колонна на колонну, ворота на ворота. Выше неба, до звезд.

— Это шахты.

— До лавы, до самого жаркого безумия земли... роем.

— Княжеский город... Толпы дворцов...

— Снести их немедленно. По нашим планам здесь проходит аллея с вишневыми садами по бокам... Через всю Европу. Прогулка через материк будет недурна для уставших.

— Там болота.

— Нам не до шуток: разрыть их, осушить, поставить домны, осветить леса.

— Что за странность? Тут нелепая насыпь, железная дорога.

Подать ее верст на сто.

Но тише — священная минута: надеваем рабочие блузы.

Гудим враз на весь мир.

И заносим удары мгновенно.

По убогим мастерским везде ли, везде ли заложен динамит?

— Взрывайте бесстрашно.

Хороните вместе с ними тухлые города без дыма и грохота.

А потом собирайте все лучшие чудовища-заводы, бурлящие домны, смелые мосты, вызывающие краны, необъятные корпуса, собирайте их на каменный, на железный митинг.

И в тысячу верст длины.

В сто верст ширины.

Скандално громадный сверхкоLOSS.

Построим завод.

Его постройка — мировой радостный конгресс работников.

Он сам ошеломлен собой.

Вот он, он вырос, он построен.

Он в дыму: горячий и родной смрад его подземного сердца уже дурманит миллионы.

Целые тысячи выбегают из мастерских смотреть на центральные крыши. Беса. Беса силы и напора мы хотим.

Наивная молодежь, раззадоренная песнями труда, хотела спорта работников.

Крыша рухнула.

Из глубины кузниц вставали налитые работой серые бетоны, грузно задрожали, и весь живой миллион завода наполнили трепетом мускулов.

— Шатунов, шатунов нам! — немедленно переменяла фронт молодежь.

— Стальных! Мы хотим отдаться этим мгновеньям.

— Силы и подъема.

В воздухе пронесся гигант — коленчатый вал, и с ним яркие, налитые синеватой кровью, шатуны.

Они взбесились и каленым шепотом заполнили своды, двери и туннели завода.

Толпа застыла, а потом враз закричала, безумствуя:

— Всё!

— И нажим,

— И удар,

— И подъем —

Все людское отдаем как награду, как приз, как душу...

Вам,

Шатуны.

Толпа прибывала.

Торжество почувствовали, почувствовали даже мастерские с тяжелой, горячей работой.

— Страсти. Безудержной страсти.

Не святоши же мы, черт возьми.

С края толпы поднялся чумазый, потный дядя и хриплым голосом закричал толпе:

— Как раз я делегат оттуда.

Часть публики засмеялась. Это были чудаки-чернорабочие, работавшие на переносках внутри двора.

— Не грохочи. Сюда. Идите!

Ворота сталелитейных мастерских с ревом раскрылись и уплыли.

Плавильные и калильные печи ревели, как сказочные псы-великаны.

Нефть сгорала во рту изрыгающих фэвок и рвалась в наполненные пламенем печи, и, казалось, жрала сама себя.

Мастер махнул рукой, жерло печи раскрылось, масса шарахнулась от жары и света.

Она не смотрела, мучилась, билась в жарких снопах воздушной лавы.

В адском шуме нельзя говорить, но мускулы лиц мгновенно сыграли одни и те же слова у всей громады:

«Сжечь — расплавить — донять — победить».

— Молитвы! Молитвы! — закричала испуганная толпа и торжественным хором направилась в просторные и чудесно высокие котельные мастерские.

По дороге толпы были встречены нигилистами-проповедниками:

«Неужели вы снова поверили в бога!»

— Чепуха; мы новые идолопоклонники, мы хотели поклоняться и воспевать созданное нами.

Входили в котельные мастерские.

Шум людского рассыпного разговора под черными сводами — тысяча ударов по железным струнам.

Потушили все фонари, кроме двух верхних.

И сразу — тихо.

Мрачная торжественность колонны.

Черные распластанные тени.

Встревоженные строгие швеллера и балки.

Ни слова команды, ни звука призыва. Толпа склонилась перед холодным городом железа.

И были слезы.

И была радость.

МАНИФЕСТАЦИЯ

Нет сил.

Мы валимся на работе.

Хлеб остается только в музеях.

Надо решиться: мы манифестируем!

С юга на север.

И путь держим на леса.

Впереди — черная дивизия голода.

Мы ставим на широкие колеса кочегарки все станции огня, тепла, электричества, газа.

Двадцатисаженные трубы — лобовая колонна. Линией в государство они двигаются наступлением к северу.

Лобовая колонна беспощадна. Через горы, реки, дебри, водопады нарастающее:

Идти —

Ломить —

Разить —

Уничтожать.

Пожрать по пути все леса, весь уголь, торф, обречь на смерть заснувшие города, погосты, усадьбы.

Всё жечь.

Всё жечь.

Жечь!

Кочегарки, котлы, цилиндры не знают ни минуты покоя. Миллион манометров стережет их огненную жажду...

Трубы рабочим маршем идут день и ночь. Двадцать городов кочегаров, двадцать городов машинистов вместе с ними.

Дивизия голода не знает сражений, но хлопок печей дал новый пульс всей земле: она гудит от Урала до Вашингтона, и океаны бредят кипящими приливами.

Трубы голодной дивизии дымят непрерывно. Они шествуют в дымовом кессоне. Солнце завешено. Многомогильный суровый мрак — знамя дивизии голода.

«Что там, под черным шлемом? У них будет взрыв. Катастрофа неминуема. Они голодны до безумия. Они решительны, как перед смертью».

Но черная дивизия шествует с упоительной дерзостью.

Режет, жжет, заливает мраком.

Черная дивизия порой устает, трубы дают перебой, надрывно пыхтят и кашляют.

— Оркестры! Оркестры! — кричит толпа с башен.

Вперед выступают двести отборных силачей-котлов, настраивают хор сирен, хор ударяет мгновенно, и звуковые залпы мчатся вперед дивизии.

Музыка, рассчитанная на города, департаменты, государства.

Трубы вытягиваются.

Хмурая гордость растет.

Огненные станки бушуют.
Вспыхивают великаны-прожектора.
Потом гаснут. Обрываются сирены.
Сигнальная тишина...
Две минуты.
Минуты как эпохи.
...Взрыв света и музыки.
Ураганная открывается работа.
Плуги-ихтиозавры в тысячу челюстей.
Впиваются. Жрут застывшую землю и тут же, испепеленную, изрыгают.
Всё хоронят и мелют.
Стелют мягкое поле для хлеба.
Ровные бригады плугов идут под командой блестящих бригадиров-будок.
Там машинисты.
Но правят не они.
Правят токи, пар, воздух.
А, Б, В... алфавиты-линии будок.
Первые алфавиты дробят землю.
Задние шлифуют.
Земля просит посева.
На железную молитву взвиваются кронштейны.
Толпами мчатся по вспаханному полю.
Плетеными руками бросают зерна.
Железный сеятель сеет.
Бассейны нагружены.
Живительный ливень несется по команде.
Земля благодарно дышит.
Взвиваются ракеты.
Котлы-музыканты гремят «Зеленые всходы».

— Голодному поезду браво!
— Тысячетрубный паровоз — наш привет!
— Вагон-землерой-ихтиозавр — наш восторг!
— Вагоны-полировщики-бороны — слава!
— Кронштейны-сеятели — наша надежда — ура!
— И грузные бассейны — еще раз наш салют!
— И всему голодному поезду — браво!
.....Смолкните гимны: тревога!
Крадутся тучи. Небо шалит не вовремя.
Готовит ливень.
Гроза уже гремит. Поля размоются и погибнут.
Готовьтесь.
— Пальба немедленно!
— Мортиры, вниманье!
— В небо на двадцать пять градусов к зениту — пли!
Циклон начинается...
— Залпы на залпы!
Тучи шарахнулись.
— Не давайте опомниться: пальба. Непрестанно пальба!
Рухнули сорок домн, и свалились ажурные башни.
Пусть!
Тучи несутся экспрессом и дадут ливень впереди паровозов.
— Трубы, дымите торжественно. Ваш смрадный труд не потерян. Дымите.
— Котлы, продолжайте ваш гимн.

— Мастерская композиторов — немедленно симфонию пушкам!

Но не слишком танцуйте, товарищи.

Опасности снова.

Солнце палит и дурманит поля, жжет департаменты хлеба.

— Пушки, вниманье!

Этот мучительный штиль разогнать немедленно.

— Десятитысячные залпы, бейте!

— В сорок пять градусов — пли!

...Треснула земля, на реках выступили пороги, забурлили водопады.

Пустяки: зато циклон победоносно веет над полями.

Котлы, гремите «Победный».

Гремите «Победный», но незаметно перейдите в «Тревожный».

Хлеб еще не снят. Урожай еще не собран.

А работникам плохо. Валяются тысячами.

Играйте «Тревожный», котлы.

Пусть думает, мучится в думе вся голодная дивизия.

— Красные прожектора, на каждой вышке выжигайте:

«Двадцать часов работы».

— Те, которые могут проработать без усталости сорок восемь часов, — на экстренные поезда!

И бесповоротно:

делаем,
работаем,
достигаем.

Выхода нет: умереть или изобрести.

Хлеб зеленый.

Чтобы он налился.

Пожелтел.

Чтобы дозрел.

И был убран.

Через неделю!

Иначе смерть дивизии и всем, кто ждет ее. Смерть департаментам и государствам.

Бесповоротно же.

Двигаем!

Химики, механики, инженеры, слесаря, котельщики, организаторы, политики, станки, пресса, конструкции.

Включите же, что есть: руки, рычаги, мысли, песни, взрывы, жару, непреклонность.

И — ну!

И — еще!

Невиданный чудище-динамо.

Кованый, грузный.

Миллионы щупалец, шестерни, башни, печи, синие блузы, бессонные ночи.

Давит.

Сдается.

Встает.

Говорит.

Низвергает.

Взрывает.

Летит.

Пламенеет.

Рушится.

Замирает.

...Открывает!

Храм изобретений.
Фабрика мысли.
Мозг из железа.
Творимый — творящий.
Три дня кошмарных железных вдохно-
вений...

В корнях зеленого хлеба задрожали ра-
стительные токи.

И солнцем управляют, как плавильной
печью...

Хлеба наливаются часами, минутами.

Несется радостный ветер, полный запа-
ховпряного свежего хлеба.

Долой голодное оцепенение.

Котлы — «Победный»!

Трубы — маршем!

Церемониальным.

Дым к небесам.

Руки земли.

Машите черными жестами!

Да здравствует праздник!

Заводы, в хоровод!

Ударяйте же в нефтяные баканы!

Паровыми молотами — бейте!

Манифестанты, к башням!

Начинается раут.

АРКА В ЕВРОПЕ

Все вместе.

Все разом.

Солдаты, механики, чернорабочие, матросы, скульптора, ораторы.

Разом.

Обнимите: пулеметы, ружья, броневики, орудия, станки, молоты, поезда, танки.

Обнимите.

Скажите им речь в тысячу градусов.

И дайте команду, чтобы через секунду накалились добела.

Влюбленные в работу механики, в эту ночь изобретите рупор.

И пусть бас из расстриженных дьяконов заревет во все стороны:

«Арка в Европе».

Два делегата.

Руки друг другу на плечи.

Живые ворота.

— Германцы, романти, камчадалы, англичане, славяне, евреи, тунгузы.

Без раздумья — под арку.

Гогочет арка.

Взрывами и дымом.

Колесами и паром.

Горы дредноутов.

Черепахи-танки.

Дредноуты в пропасть.
Пропасти жрут города.
Мосты на дыбы над огнем и дымом.
И в воздух.
Пальба по всем направлениям.
Водопады снарядов.
Ураган мин.
Гром молотов под землю.
Рушатся горы.
Тринадцать армий, на рытье могил!
Миллионы трупов на кранах, в могилы!
Четыре батальона сумасшедших.
С хохотом к морю...
Полк калек на костылях.
Танцуют изысканно «Марш хромых».
Обвал государств.
Пожары вопля стариков и детей.
Погромы городов голодными.
Жадность раздетых.
Народы.
Кочегары, кузнецы, пулеметчики, саперы,
артиллеристы.
Вы выдержите.
Все загогочет.
Тяжелое книзу.
Легкое кверху.
Дредноуты, танки, мосты, станки, пулеметы,
солдаты, сумасшедшие, калеки, младенцы,
стройтесь!
Все вместе.
Все разом.
В арку.
Голос — пальба.
Дума — машина.

Высота ее — звезды.
— Народы!
Германцы, англичане, тунгузы,
евреи и русские.
Идите.
Бот вам крещение.
В арку,
Раз, два...
Раз, два...
Арка, держись.
Все партии.
Станка.
Голода.
Пальбы.
Партия скитаний, караулов.
Под арку.
Раз, два...
Раз, два...
Вы под аркой?
Арка, смирно!
Арка, делай па-а-ль-ба.
Партия, раз, два...
Смелей!
Тверже ногу.
Ать-два.
Па-а-ль-ба.
Непогребенные трупы, сумасшед-
шие, калеки, — на парад!
Располагайтесь за аркой
И встречайте идущих.
Партии: раз, два...
Приуныли, в раздумье.
Семь поездов с голодными
агитаторами, марш по Европе!

С крыльями и звоном.
С голодными воплями.
Бушуйте, агитаторы.
Дайте скорость 200 километров.
Прорежьте робких
И прямо на глазах,
Через народы, дредноуты, трупы.
Гряньте через арку.
— Па-а-ль-ба!
Батальоны, народы, стремглав за нами.
— Алло. Кто у телефона?
— «Арка Европы».
У аппарата Америка. Нам слышно через
Атлантику.
Тише. Немного тише.
— Мы заняты...
— Поставьте на тихие скорости.
— Два слова: в ночь бурим колодец из
Берлина прямо в Вашингтон. Мы спустим
делегатов. Семь поездов делегатов...
— Довольно... Нас прерывают...

— Алло, кто у телефона?
— Земля; это Марс?
— У аппарата Марс. Нельзя ли легче?
— Здесь «Арка» и вместе с землей не-
сется по орбите.
— Вы по своей земной орбите?
— Возможно, что мы переключим ор-
биты и завернем к вам.
— Довольно... нас прерывают.

Арка в Европе!
Арка в Европе!

ВЫХОДИ

В этот город — сто железных дорог.
Мы высадимся сразу.
На дома, на заводы, на колонны.
Всё соединим вместе.
Будет дом в три миллиона жителей.
Наверху зажжем неистовый жертвенник:
Факела,
Урагано-печи,
Прожекторо-пожары.
П-пах. Сразу потушим.
Ослепим материки...
Трехмиллионный дом, утонувший во
мраке, взорвем.
И заорем в трещины и катакомбы:
Выходи, железный,
Выходи же, бетонный!
Высотой в версту.
Нога его — броненосец.
Ступня его — как Везувий.
Глаза его — домны.
Руки его — виадуки.
Иди.
И молча,
Ни звука.
Тяжеленными бродами.

Прогуляйся по свету.

Твой путь:

Европа, Азия, Тихий океан, Америка.

Шагай и топай средь ночи железом и
камнем.

Дойдешь до уступа,

Это Атлантика.

— Гэргни.

Ошарашь их.

Океаны залязгают, брызнут к звездам.

Миссисипи обнимется с Волгой.

Гималаи ринутся на Кордильеры.

— Расхохочись!

Чтобы, все деревья на земле встали ды-
бом и из холмов выросли горы.

И не давай опомниться.

Бери ее, безвольную.

Меси ее, как тесто.



СЛОВО ПОД ПРЕССОМ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Несутся годы в напряженной фантастике битв и депрессий. Весь мир — от Нью-Йорка до тунгуза — живет в рискованном действии, в вибрации ожиданий. Войны, перевороты, технический замысел, все смешано в паническом, сурово-радостном и окрыленном людском бивуаке.

Человечество насторожилось. Оно ждет гудка. Мгновение, — и сквозь смутный хаос этих дней вырвется торжественно-легендарная догадка о грядущем реве событий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

„Пачка ордеров“ читается ровными отрезками, как бы сдаваемыми на аппарат.

В читке не должно быть экспрессии, пафоса, ложноклассической приподнятости и ударных патетических мест.

Слова и фразы следуют друг за другом одной скоростью. Идет грузное действие, и „пачка“ дается слушателю как либретто вещевых событий.

Ордер 03 может читаться параллельным чтением; фразы подаются с большими паузами, с расчетом покрытия времени ордеров 01—03. Ордер 10 прочитывается в заключение одним первым чтением.

А В Т О Р

ПАЧКА ОРДЕРОВ

ОРДЕР 01.

Сорок тысяч в шеренгу.
Смирно: глаза на манометр — впаять.
Чугуно-полоса-взгляды.
Поверка линии — залп.
Выстрел вдоль линии.
Снарядополет — десять миллиметров
от лбов.
Тридцать лбов слизано, — люди
в брак.
Тысяча А — к востоку.
Колонна 10 — на запад.
Двадцать девять тысяч, — замри.

ОРДЕР 02.

Хронометр, на дежурство.
К станкам.
Встать.
Пауза.
Заряд внимания.
Подача.

Включить.
Самоход.
Стоп.
Полминуты выдержки.
Переключить.
Операция Б.
Прием два, прием четыре.
Семь.
Серия двадцать, в работу.

О Р Д Е Р 03.

Врачи, к шеренгам.
Поднять температуру.
Повысить на девять десятых градуса.
Первому десятку.
Малая пауза.
Повысить сотне Д.
Большая пауза.
Тысяче Е.
К станкам, лопаткам, микроскопам.
Повысить еще.
На пять десятых.
Миллиону С.
Тридцати городам.
Двадцати государствам.
Агитканонада.
Трудо-атаки-экстра.

ОРДЕР 04.

Призмы домов.
Пачка в двадцать кварталов.
В пресс ее.
Сплющить в параллелограмм.
Зажать до 30 градусов.
На червяки и колеса.
Квартало-танк.
Движение диагональю.
Резать улицы не содрогаясь.
Лишняя тысяча калорий работникам.

ОРДЕР 05.

Панихида на кладбище планет.
Рев в катакомбах миров.
Миллионы, в люки будущего.
Миллиарды, крепче орудия.
Каторга ума.
Кандалы сердца.
Инженерьте обывателей.
Загнать им геометрию в шею.
Логарифмы им в жесты.
Опакостить их романтику.
Тонны негодования.
Нормализация слова от полюса
к полюсу
Фразы по десятиричной системе.
Котельное предприятие речей.
Уничтожить словесность.
Огортанить туннели.

ВОЗЗВАНИЕ

Всеукраинского Литературного
Комитета.

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ!

Мы на краю столетий. Пролетариат призван ныне творить новое искусство. Напором нашей отваги мы взламываем ворота в будущее.

Бушующее завтра — единственная цель. Побежденным представляется возможность остаться во вчера.

Товарищи!

Внесите свои молоты, чтобы выковать новое слово. Это дело озарено невиданным доселе огнем пышущих горнов нашей упорной воли.

Стройте авангарды революционного пролетарского искусства.

Пусть земной шар будет охвачен пожаром нашей пламенеющей воли.

Будем работать вместе.

Организован Всеукраинский комиссариат искусств.

На очереди целый ряд пролетарских изданий. Несите свой яркий клич, свою веру, несите стихи, рисунки, рассказы, музыку.

В недалеком будущем Совет созывает митинг рабочих-поэтов и писателей.

Давайте покажем, что рабоче-крестьянское сердце умеет повелевать своей судьбой.

Г. Петников, А. Гастев, Н. Левченко.

Заставить говорить их.
Небо — в красное для возбуждения.
Шестерни — сверхскорость.
Мозгомашины — погрузка.
Киноглаза — установка.
Электронервы — работа.
Артерионасосы, качайте.

ОРДЕР 08.

Азия — вся на ноте ре.
Америка — аккордом выше.
Африка — си-бемоль.
Радиокапельмейстер.
Циклоновиолончель — соло.
По сорока башням — смычком.
Оркестр по экватору.
Симфония по параллели 7.
Хоры по меридиану 6.
Электроструны к земному центру.
Продержать шар земли в музыке
четыре времени года.
Звучать по орбите 4 месяца
пианиссимо.
Сделать четыре минуты вулкано-
фортиссимо.
Оборвать на неделю.
Грянуть вулкано-фортиссимо
кресчендо.
Держать на вулкано полгода.
Спускать до нуля.
Свернуть оркестраду.

ОРДЕР 07.

Распределительное бюро на Монблане.
Коммутатор Вашингтон, командуй
Америкой.

Радио Калькутта,— материком
восточным.

Заснуть смене телеграфистов на 2 часа.
Разбудить телефонных девиц на 5 часов.
Поднять авиаплатформы
на 10 000 километров.

Отремонтировать 20 миллионов безногих.
Олошадить жителей Австралии.
Омолодить на 30 лет канадцев.

Принять рапорт в три минуты
от полмиллиарда спортсменов.

Сделать сводку рапортов телемашинами
в 10 минут.

Выключить солнце на полчаса.

Написать на ночном небе
20 километров слов.

Разложить сознание на 30 параллелей.

Заставить прочесть 20 километров
в 5 минут.

Включить солнце.

Всем разгоряченным — шаг на месте.

Скомандовать прыжок в высоту.

Выбрать самых пружинных.

Человечество — трубки к ушам и гортани.

Слушайте спортсменов, в их теле поэзия.

Азотировать противников.
Промыть мозги.
Пауза.
Сбить ориентировку в пространстве.
Включить чувство времени.
Уронить на толпы мрак.
Плотина людей под плотину людей.
Сумасшедшие женщины, рожайте.
Рожайте немедленно, срочно.

ОРДЕР 10.

Отрапортовать: шестьсот городов —
выдержка пробы.
Двадцать городов задохлись, — в брак.

ВОССТАНИЕ КУЛЬТУРЫ

**Хотим быть
не только агитаторами,
но и
КОНСТРУКТОРАМИ КОММУНИЗМА!**

ПОСТАВИМ ПАМЯТНИК

АМЕБЕ — давшей реакцию,
СОБАКЕ — величайшему другу, зовущему
к упражнению,
ОБЕЗЬЯНЕ — урагану живого движения,
РУКЕ — чудесной интуиции воли и конструи-
ции,
ДИКАРЮ — с его каменным ударом,
ИНСТРУМЕНТУ — как знамени воли,
МАШИНЕ — учителю точности и скорости
и **ВСЕМ СМЕЛЬЧАКАМ**, зовущим
к **ПЕРЕДЕЛКЕ ЧЕЛОВЕКА.**

ПРОКЛЯТЬЕ всем

**ТРУСАМ,
ХАНЖАМ,
МРАКОБЕСАМ,**
подымающим вой и визг по дорогам и
площадям, где мчится наша машина.

ЗДРАВСТВУЙ ЖЕ!

Здравствуй весело
боевой наш

**ЖЕЛЕЗНЫЙ
ПОЛНОКРОВНЫЙ
УВЕРЕННЫЙ МОНТАЖ!**



ЮНОСТЬ, ИДИ!

ГОТОВНОСТЬ И ВОЛЯ

Россия спит столетие и вдруг начинает потягиваться и делает бунт.

Бунты были подавлены, затоплены кровью.

Но вот был начат бунт в совершенно новом стиле. С долголетней методической подготовкой. Во главе бунта встал класс, отмеривший свои надежды на столетие вперед.

Этот бунт заслуженно назван революцией.

ЕСЛИ РЕШИЛ — ДЕЙСТВУЙ!

Революция была проведена в условиях смрада, голода, малярии и пожара.

Десятки тысяч, сотни похоронила своим маршем, но все же дала шеренги юности и нового огня.

Стой же, юность!

Готовься и действуй!

Сделай так, чтоб в молчанье, в нестроевом бивуаке ты бредила методом и упрямством.

Будь мобилизована. Всегда и везде.

С утра ты выстроилась линией. Командуй себе: «Смирно!» Стой же как струны из мускулов.

Напряженно смотри.

И желай!

— Команда опять:

Воля! Работа!

— Входи мелкими дозами.

Постепенно вводи рубильники работы.

— Рас-хо-дись.

И упрямо-упрямо, регулярно-регулярно сверли своей работой, — работой и волей — пласты ленивых залежей.

Победишь!

Победишь непременно.

И бегом своим заразишь камни, леса и болота.

**Рабочий, возьми у солдата его отвагу,
организованность и дисциплину.
Солдат, возьми у рабочего
его сноровку.**

СНАРЯЖАЙТЕСЬ, МОНТЕРЫ!

Ворота проломлены.

Объявим же погоню.

Необъятные массы призовем к новому бою.

К наступлению.

К азарту культуры.

Не кампанию, не полосу, не уклон. Мы объявим методический, но бешеный марш и начнем творить историю, которой у нас не было.

Призовем новых работников, подкованных людей.

Юность — иди!

Вставай, рожденная в огне восстаний, копоты, разрухи, корчах голода.

Объявим — в первый раз в мире — культурное движение на базе низов: рабочих и крестьян, опрокинувших рабство, отбивших реставрацию.



Мы помним предчувствия этих лет.

Ими грезил Петр под грохот европейских

Знающий, но не умеющий — это механизм без двигателя.

кузниц и верфей; их возвестил в своем морозном марше от Архангельска до Москвы деревенский гений — Ломоносов; солнечной легендой пронесся Горький, а тысячи рабочих и крестьян во времена царя рассыпали свои университеты во всех тюрьмах и непролазных ссыльных лесах России.

Грохнула революция. Разбила плотины и дала лавину энергии.

Тысячи, миллионы молодых голодных варваров хотят перевернуть всё сверху донизу, их мускулы стонут по работе, молекулы мозга накалены и безумствуют.

О конечно, нельзя это движение втиснуть в рамки затасканных лозунгов, оставшихся от сельских учителей и попов, ведущих светский образ жизни.

Им не справиться с напором.

Надо открыть шлюзы и взять в гранит стихию, которая не хочет и не может уместиться в рамки ведомств и междуведомственных совещаний.

Дело решится созданием народного движения, по преимуществу юношеского, раскиданного по всей России, вооруженного не только букварем, а самыми реальными инструментами и самыми настоящими рабочими руками.

ТОПОР...

**ЭТО ВЕЧНО ЮНЫЙ ДЕДУШКА
ПАРОВОГО МОЛОТА,**

Юность, которая хочет жить, наивно и дерзко берется за все, что стоит ей поперек дороги. Надо дать организацию и лозунг. Главный смысл их — брать приступом Россию изнутри, перерабатывать ее плесень и отсталость и все спящее заставлять работать.

Надо объявить мобилизацию миллиона юных робинзонов, по преимуществу остро думающих горожан, и снарядить их в большой поход по проселочным дорогам, по лесам, деревням, неразбуженным болотам и всюду строить новое жилье от избы до небоскреба, поселить говор инструмента от топора до мотора и наполнить Россию культурным монтажом.

Выстроим в городе две тысячи молодых мальчат и скажем:

— Хотите в тайгу?

Туда, где режут медведи, где мороз до 50 градусов и где на 500 верст нет жилья.

Но где есть графит, единственный в мире, железная руда, полная творческой крови, есть ключи с целебнейшей влагой.

Идите.

**ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЕССА,
ТОКАРНОГО СТАНКА,
ШЛИФОВОЧНОЙ МАШИНЫ.**

Найдите.

И...

Через год являйтесь с рапортом о победе.

Или еще.

Соберем юношей бригадой в 20 человек и дадим маршрут: на голодную, изможденную, безграмотную деревню.

На соседнем болоте сделайте хутор. Из ничего. Пусть в инвентаре у вас значится: руки, голова, дисциплина, инициатива.

Возьмите все это на учет и покажите крестьянам, как на болоте можно создать огород, метеорологическую станцию, школу, кузницу для правки инструмента.

Или так.

— Вот завод.

Студент, кончивший ВТУЗ. Иди за станок. Иди к тискам. Иди к верстаку. И не звони о реорганизации. А бери молоток, резец, фрезер, лом, тачку и дай рассчитанную работу.

А через год являйся с докладом о победе над своей операцией, приходи как изобретатель нового приема, новых приспособлений и конструкций.

**ХОЧЕШЬ БЫТЬ ОРГАНИЗАТОРОМ?
ХОЧЕШЬ БЫТЬ
ХОРОШИМ ОРГАНИЗАТОРОМ?
ХОЧЕШЬ БЫТЬ
УВЕРЕННЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ?**

Как бы мы ни мечтали, какую бы концессионную романтику ни разводили, если мы сами не станем собственными колонизаторами, — колонизуют нас самих и колонизуют, как дурачков, как идиотиков божьих.

Юность молодая, сорванцы нашей революционной страны, пойдете сами в ее заповедные дебри, откроем поход и покажем, что значит миллион культурных работников.

И пусть скептики, пусть преждевременные старички мотают головой.

Переходим к делу.

Где снаряжение для похода?

Давайте разворачивать.

Вот оно.



Перед нами огромная задача: делать и нести культуру.

Культура эта — не грамотность и не словесность: мало ли у нас есть грамотных, ученых людей, но они беспомощны, они созерцательны, они — скептики.

— Облюбуй небольшой участок работы, участок с аршин, и построй каждую мелочь с расчетом до минуты, до дюйма.

Современная культура та, которую нам надо для переделки нашей страны, это прежде всего сноровка, способность обрабатывать, приспособливать, подбирать одно к другому, припochивать, припасовывать, способность монтировать, мастерски собирать рассыпанное и нестройное в механизмы, активные вещи.

В этом смысле, и только в этом смысле и нужна нам культура, — неграмотный американец гораздо культурнее,

сноровистее,

чем наш интеллигент, получивший высшее образование. Не учитель, не миссионер, не оратор, а монтер — вот кто должен быть носителем и агентом культуры в нашей рабоче-крестьянской стране.

Конечно, чисто техническое понятие монтажа надо расширить, привнести в него социальный момент. И тогда развертывание всего сложного снаряжения современного культурного работника можно провести с максимальной ясностью.

БАРЧУК-БЕЛОРУЧКА

СКЛОНЕН

БЕСКОНЕЧНО БОЛТАТЬ.

УПОРНЫЙ

ЗАВОДСКОЙ

ОРГАНИЗАТОР

Прежде́ всего монтер культуры должен
быть искусным

разведчиком.

Зоркий глаз, тонкое ухо, хорошо воспри-
таннные органы чувств, но при всем том
главное качество —

внимание;

слагается то, что предрешает нанизывание
культуры —

наблюдательность,

способность чеканно воспринимать; это
противовес ленивому созерцательному ро-
тозейству, лежебокству. Получается тип

настороженного

активного наблюдателя, от которого не
скрыта жизнь, она динамична, даже в ее за-
мерзшем виде она постоянно клокочет бы-
стрыми ассоциациями, память работает как
мастерская: в голове принимают и подают,
кладут в стопки и увозят, сортируют и бра-
куют.

**Юность, ты не должна зевать. Ты
должна всюду попевать, ты не долж-
на воронить, ты должна заниматься
следопытством.**

ДАЖЕ ПРИ БЕДНОМ ОБОРУДОВАНИИ

ПОБЕДИТ

СВОЕЙ

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СНОРОВКОЙ.

Наблюдательность надо закреплять, ее надо

фиксировать.

Быстро писать. Никуда не ходить без блокнота и карандаша. Конечно, хорошо, если бы поголовно все знали стенографию. Но если невозможно, то надо владеть скорописью. Надо уметь делать зарисовки, быстро накидывать эскизы, знать обозначения, условные знаки; надо привыкнуть к несложному графику (всегда предпочитайте блокнот, разлинованный в клетку). Надо привыкнуть при фиксировании все давать в величинах: в сантиметрах, метрах, фунтах и проч. Ваши часы, которые вы носите в кармане, сделайте нужным инструментом фиксажа. В заметках обозначайте час, минуту. Ваши часы — в то же время и хронометр. Если нет в кармане часов, посмотрите на стенные. Если и их нет, определите время по солнцу; солнца нет — по движению на улицах.

Итак — будьте фиксаторами, будьте проворными репортерами жизни. Ничего не глотайте непрожеванным.



**РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
ДАВАЙ ВЫПРАВКУ ВО ВСЕМ:
В РАБОТЕ, В УЧЕНЬЕ, В БОРЬБЕ.**

Вы научились наблюдать, вы умеете фиксировать. Теперь надо действовать.

Действовать! Это самая характерная черта культуры, которую нам надо создать. Даже самое отвлеченное мышление должно быть конструктивным: напряжение постоянно сменяющихся акций и реакций должно быть слышно, как в напряженных стропилах крыши.

Привычка к действию — это воля, воспитанная упражнением. Научиться

быстро реагировать —

вот главное качество психологии нашей, поднимаемой нами культуры. Это предполагает постоянную настороженность, храбрость, выдержку, чувство уверенности в себе, чувство ответственности. Сначала надо научиться быстро реагировать в статическом положении (стойте «смирно» и реагируйте действием на команду), потом поставьте себя в динамическое положение (неситесь на велосипеде и быстро затормозите и сделайте крутой поворот).

Волю надо сделать автоматически действующей. Развить в своей психике максимум автоматизма, соединенного с волей и выдержкой, это значит быть закаленным

**НЕ ВООБРАЖАЙ СЕБЯ ОРГАНИЗАТОРОМ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ
НЕ НАВЕДЕШЬ ЧИСТОТУ.**

против всяких паник, против этой эпидемической трусости, которая характерна для некультурного человека.

**Молодые люди, вам нужна воля,
отвага и выдержка.**

И вот мы подходим к самому снаряжению, поскольку оно выражено в биологической организации человека и его технике.

**Тело должно быть воспитано,
как рабочая машина.**

Каждый должен быть гимнастом. Это дает телу ловкость, конструктивность, причащает каждый мускул и всю психику в целом к наибольшему коэффициенту полезного действия, вырабатывает автоматический регулятор движений и опять-таки храбрость.

Фартовость, пластичность движений — признак культуры человеческой машины.

Эти качества усиливаются при особом воспитании этой машины, какое дает, например, солдатчина, гимнастика, спорт.

В ПЯТЬ МИНУТ можно изложить
самую сложную мысль.

Сначала подавайте КОРОТКОЙ ФРАЗОЙ
главную суть.

Искусство физического нападения, искусство физической защиты должно быть принято неоспоримо всеми, кто не хочет делать из юношей ханжей и нищих.

Но что должно быть принадлежностью нашей рабоче-крестьянской культуры самоколонизирующейся России, — это трудовая пластика. Пусть не подумают, что это стилизация трудовых движений; нет, это живой утилитарный катехизис трудовых сноровок, которые можно прививать системой определенных движений, даже и без инструментов. Подъем грузов с земли, подъем грузов выше головы, посадка тяжелых грузов на плечи без помощи подручного, подъем пятнадцатипудового бруса вчетвером, нажимы всякого рода с упражнением на выдержку и постепенную нагрузку; вращательные движения как по горизонтали, так и по вертикали; удары — сильные, меткие, с малым и большим размахом, броски и перебрасывания — меткие, быстрые, соединенные с неожиданностью.

Все это предрешит обработочные возможности, рабочую сноровку. Это — настоящая трудовая гимнастика, которая

На это потратьте минуту.

Потом давайте

КОММЕНТАРИИ И ЦИФРЫ.

На это — четыре минуты.

должна быть специфически свойственна нам — молодым монтерам культуры.

Переходим к питанию рабочей машины. Наука дыхания, еды, питья, спанья, мотона должна быть усвоена культурной молодежью и проводиться неотступно. Несоблюдение ее должно квалифицироваться как моральная неопрятность. Курс надо брать на сильных, работоспособных, выносливых людей.

Каждый молодой человек должен знать — как вести себя в городе, в деревне, в дороге, в походе, в диком месте, и всюду он должен быть подкован, конечно не лекарствами, а режимом, автоматически вводящимся при перемене обстановки.

Особенно драгоценным надо признать режим работы, который так прямо можно и назвать культурой работы. Эта культура состоит в том, чтобы научиться побеждать в работе:

Давать возрастающую нагрузку, потом обеспечить мерность работы и, наконец, хорошо чередовать отдыхи.

ДОВОЛЬНО СЛОВ О ВЕЛИКОМ.

**ВНИМАНИЕ К „МЕЛОЧИ“ —
К МИКРОСКОПУ,
К НЕУЛОВИМОМУ.**

Ровный ход, и в то же время победоносно-уверенный, вот что действует на неуравновешенные дикие толпы, некультурные и детски-порывистые.

Теперь мы входим в мир вещевой обработочной техники, материального снаряжения монтеров культуры. Бездарные хористы поют о машине тогда, когда их так мало, и много взорвано в воздух. Этой провинциальной романтике должна быть противопоставлена позиция рабочих-колонизаторов. Рабочий-колонизатор идет в дебри своей собственной страны прежде всего сам, как ловко смазанная, выверенная, автоматически регулируемая машина. Кости-рычаги, мускулы-двигатели, нервы-импульсы — все в нем активно и инструментально налажено.

К этой голове...

В эти руки...

так и рвется с верстаков и полок инструмент.

Этот корпус...

так и просит станка...

**ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИЗМЕНИТЬ
СПОСОБЫ РАБОТ,
НАДО ИХ ТЩАТЕЛЬНО
ИЗУЧИТЬ.**

Будем же воспитывать любовь не только к машине, которая часто для нас — лишь теоретическая мечта, а к инструменту, к приспособлению.

Надо возвеличить инструменты, особенно самые активные из них, обработочные.

Выдвинем молоток и нож

как два главные обработочные начала. Молоток — яркое выражение обработочно-прессующего метода, нож — обработочно-режущего.

Вы приобрели науку удара, прибавьте к вашей руке еще один рычаг-молоток и работайте этой удлинённой рукой как ловко действующим прессом, приводимым в движение ловко разработанными мускулами.

Вы научились вашими руками нажимать, введите же ваш нажим — в сталь ножа и дайте твердую линию резания.

**В КАЖДОМ ДЕЛЕ БУДЬ ЛАБОРАНТОМ:
ТОЧНО УЧИТЫВАЙ
ТЩАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙ,
ПОСТОЯННО СОПОСТАВЛЯЙ.**

Каждый должен

владеть молотком во всех разновидностях его рабочего удара; вертикально-прессующего, прессующего под углом — вперед, в тыл, в стороны.

Каждый должен

владеть ножом: резать методом вертикально-нажимным, пилящим, строгающим, рубящим. Но

каждый должен

знать, что успех в обработках должен закончиться применением большой силы в молотке: выступает кувалда, далее механически действующий молот (хотя бы «баба»), за ним паровой и воздушный молот и гидравлический пресс.

Ловкое овладение молотком таит жажду изобретения или применения

прессующей машины.

Ловкое овладение ножом таит жажду применения совершенных

режущих инструментов и машин:

стамески, долота, зубила, наконец, резца,

**НЕ ГОВОРИ О БОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВАХ:
ПРИУЧИСЬ ОВЛАДЕВАТЬ**

МАЛЫМ ПРОСТРАНСТВОМ

И МАЛЫМ ВРЕМЕНЕМ.

фрезера, сверла, метчика — к сверлильным, фрезеровочным и токарным станкам и автоматам, шествующим всюду по металлу, дереву, стеклу, камню, хлопку, огню и льду.

Такой прекрасный инструмент, как топор, должен быть любим каждым юношей — агентом культуры. Топор — это ловкое прекрасное соединение ножа с молотом, резца с прессом.

Обработочный примитив ввергайте немедленно в действие, зажигая действительную жажду машины,

а не разводите глупую романтику о прелестях машинизма. Машина придет к нам как награда и достижение, а не как заслуженный подарок.

Вы тогда будете в каждом лесу, в каждой реке, в каждом дворе изобретателем.

Схватывайте ловкой, сильной уверенной рукой инструмент, его берегите и лелейте, задумайтесь над передачей ему силы большей, чем у вас есть, и, наконец, мечтайте о двигателе.

Нам нужна

не просто КУЛЬТУРА;

нам нужна

КУЛЬТУРНАЯ УСТАНОВКА.

Победа придет к вам как всемогущая машина, где бы вы ни были: в Москве, в Чухломе, на реке Печоре или в Кавказских трущобах.

Так вы воспитываете в себе настоящего

монтера,

технически сноровистого культурного работника. Монтер — это ловкий сборщик, приспособитель: из рассыпанных, часто никому не нужных вещей, брошенных, варварски искобренных или дико-нетронутых, он делает техническое чудо — он заставляет их работать.

Руки, на которые он смотрит как на чудесную механику, инструмент, в который он верит, и машина, которую он непременно изобретет, — вот с чем он носитя всюду. В крайнем случае он выйдет из положения с одними только руками.

Надо научиться приспособлять, приноравливать, приплочивать (плотник — чудесное слово, соответствующее слесарю). Каждый ковалок, глыба у монтера пронизана пунктирами линий, чертежей, которые изнутри съедают безвольные комки энер-

Современная техника

не знает „красивых изделий“;

она требует

точного метода обработки.

гией линий. Этим линиям надо достигать, их выводить, высекать.

Начинайте науку монтажа сначала с простых, но изумительно смелых задач со списками («тысяча и один способ»), потом постигните науку монтажных креплений: нитки, веревки, заклепки, винты, болты, гайки, пайка. Наконец, к вам придет точная наука «приплеток» — пригонка одной детали к другой, наука, которую можно постигнуть при хорошо составленной программе гораздо скорее, чем это думают.

Самый высший монтаж, это «монтаж на месте», где вы окунаетесь в механику пространства — проецирование и искусственное установление центра, установка под уровень, провешивание линий, регулирование вращательных механизмов.

Монтаж — это высшее выражение обработочных шнуровок, оно должно быть самым типичным для того понимания культуры, которое нужно нам; культуры, носителем которой должны быть молодые люди нашей рабоче-крестьянской революции.

УЧИТЫВАТЬ

ВРЕМЯ —

ЗНАЧИТ

ДОЛЬШЕ ЖИТЬ.

Идем дальше.

Организация.

Наши гигантские культурные задачи требуют особого «организованного человека», способного всюду выдвинуть ловкий действенный план, схему, которая через полчаса уже посажена на колеса и работает. Наш монтер должен быть портативен: его организация легка, удобна, быстра.

Научимся прежде всего развешиваться
на узкой базе.

Для молодости реализация планов больших размеров нежизненна и скучна до зевоты.

Надо научиться овладевать ограниченным пространством и ограниченным временем.

Эта наука теперь рассыпана во всех магазинах, с которых дерут налоги за пространство и время. Каждый приказчик — теперь — монтер времени и пространства. Каждый ларек — это почти лаборатория научной организации труда. Посмотрите на Трубный рынок: там сооружаются деревянные «небоскребы» и торговцы впахивают

ВАЖНО

НЕ ТОЛЬКО ДАТЬ ОТДЫХ,

НО И СООБЩИТЬ ЕМУ УСТАНОВКУ —

ЕГО ОРГАНИЗОВАТЬ.

товар к «небу», чтобы не платить за лишнюю площадь. Каждый монтер должен знать тайну построения таких ларьков, бойких, оперативных хижин, маленьких хуторов. Хутор, расположенный в поле... Он центр. От него — радиусы в огороды, поля, службы. Колодезь надо устроить так, чтобы не только там всегда была вода, но чтобы меньше времени было на ходьбу, меньше подметок стоптал водоносец.

В мастерской на небольшом рабочем месте должно быть все под рукой, и ваша голова все же сквозь дерево и железо шкафов и верстаков видела бы так, как через стекло.

Изучайте ящики для инструмента у хороших шоферов, загляните в заводские склады, полазьте там по стеллажам, где так искусно сложены сотни сортов материалов, изучайте несессеры полевых монтеров, осматривайте, наконец, подъездные пути и элеваторы, изучайте сборочные залы больших заводов, куда входят целые нагруженные поезда и разгружаются железными лапами кранов.

**Если хочешь вводить НОТ,
стань мастером хоть одной операции,
рассчитай ее и дай ускорение.**

**Тогда ты будешь говорить
фактами, а не зубрежкой.**

Мы должны в нашей практической горячей работе выработать «азбуку организации», скажем, из двадцати правил, которую должен понять каждый грамотный энергичный человек. Она должна быть приложением и в любом департаменте и в любом овраге.

Располагать вещи в пространстве, располагать их во времени, это — организация вещей. Также должны мы научиться быстро организовывать людей. Толпа в 20 человек в ваших руках должна быть перестроена в механизм. Будьте инженерами людских масс. Надо научиться подбирать людей. Швейцар, ведущий сидячий, малоподвижный образ жизни, может быть флегматиком; курьер, наоборот, должен быть подвижным. Так их и подбирать надо.

Надо научиться

быть распорядительным.

Тут дорога через исполнительность. Научись хорошенько исполнять, точно, в полной мере, с полным объемом выполненного за-

**Зеваки говорят о заграничных чудесах
и распускают слюни.**

**А ты сам сделай чудо у себя дома —
победи и выдь из положения
с парой инструментов и твоей волей.**

дания. Потом будешь недурным распорядителем.

Распорядительная работа приучит уже к плановой.

Сначала исполни, потом распорядись, наконец, планируй

Вот тогда-то и будет уже твердо усвоенная организационная сноровка.

Через стаж дисциплины к хорошему распорядительству.

Наконец, вот то, что известно теперь под именем хозяйственного расчета, это тоже надо воспитывать с ранней юности.

Юность должна здесь побивать рекорд.

Имейте в своем распоряжении два рубля золотом и начните с них большое дело с верой в успех.

Страничка для записи ваших расходов должна быть уже готова. Ничего не пропускайте. Всё записывайте. Выводите баланс.

Деньги должны быть в обороте. Быстрый оборот вашего ничтожного капитала означает организационную живость, успех работы в пространстве и во времени. Также

**СМОТРИ
НА МАШИНУ-ОРУДИЕ.
СОЗДАВАЙ
МАШИНУ-ОРГАНИЗАЦИЮ.**

надо смотреть и на вещи. Ваш инвентарь должен быть в работе. Ваше дело — это не ломбард, где хранятся вещи, посыпанные нафталином. Ваши вещи должны быть в работе, в обороте. Вещи, которые у вас находятся в вашем маленьком хозяйстве без движения, должны быть реализованы и заменены вещами, нервно работающими.

Воздерживайтесь, особенно на первых порах, чего-либо просить, кланяться.

Бейтесь за собственный страх и риск. Привлекайте капиталы потом, когда вы органически поверили в ваши материальные успехи.

Надо знать, как распорядиться хотя и ограниченными средствами. Надо знать, что всегда должен быть резерв, а оборотный капитал надо расходовать с толком. Надо знать, что

первые траты самые роковые.

Вы взвесьте хорошенько, что вам надо приобрести: инструмент или помещение, заарендовать немедленно клочок земли или купить семенную картошку. Но поду-

**СХВАТЫВАЙ
ЛОВКОЙ УВЕРЕННОЙ РУКОЙ
ИНСТРУМЕНТ,
ЕГО БЕРЕГИ И ЛЕЛЕЙ.**

майте еще и еще раз; может быть, выгоднее ничего не приобретать, а сняться с места, перебраться в другой район и там начать дело.

Вот со всем этим багажом, небольшим, но остро подправленным, пряным, ловко сложенным, надо идти в жизнь.

Всю юность, городскую трудовую молодежь, передовую молодую деревенщину, надо взять в работу и сказать: составляйте молодые бригады монтеров и идите по России, идите в ее нетронутые глубины, идите и

разворачивайте культуру на целине.

Будьте робинзонами, но подкованными войной, революцией, техникой, трудом.

Идемте же в атаку на эти необъятные пустыри.

Делайтесь детьми марша и лагеря. Хорошие молодые ноги, зоркие глаза, тренированные руки, организованная голова, пара инструмента, блокнот, справочники, ограниченный минимум денег.

Будем уметь развернуть лагерь и зимой

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

ВЫ ПРОИЗНОСИТЕ: „ЭТО ТРУДНО“ —

И УЖЕ ДУМАЕТЕ ЗА НЕЕ НЕ ПРИНИМАТЬСЯ.



ТОВАРИЩИ, рабочие и кре- стьяне, трудовой городской и сель- ской народ!..

По всей земле, из края в край мира гудят перевероты. Война, начатая на радость королей, царей, президентов, развернулась шквалом, который низвергает императорские дворцы, жжет мантии, сбрасывает короны, обращает в прах королей. Мир, в котором, казалось, все было так тонко прилажено, рухнул. И вместо воли банкиров, помещиков, спекулянтов, провозглашена воля тех, кто создал поля, заводы, насыпи, дома, кто отбывал вековую повинность работы, провозглашена воля трудового рабочего и крестьянского народа.

Может быть, час окончательного торжества революции еще не пробил, может быть это лишь первый трезвон победы, но призраки молодости ходят по полям и заводам всех материков: эпоха, равной которой еще не было от создания мира, открылась.

Столбы, подпиравшие старые горизонты верований, надежд, красоты, раздвинулись, вместе с воснившим и революционным ураганом ринулись водопадами новых понятий, вереницы новых слов закружились над дымом, кровью и радостью революций. Побеждающие человечество в своем боевом угаре готовят слова, песни, рождает радостные догадки о замахх жизни еще на раскрытых, но о которых трепетно заикаются одиночки.

Камерные кустари красоты, вырастившие поэзию и музыку в закрытых от народа оранжереях, застыли и замерли перед приходством блуз, папах и партизанских колонн.

И мы хотим быть новыми пришельцами, дерзко раскроем занавес над городами, улицами, мастерскими, базарами, казармами.

Мы зовем к новым легендам борьбы, окутанной дымом восстаний, к поэмам уличных человеческих морей и к восторженной музыке работы. Мы вскроем перед восставшими дворцы и дома, наполненные картинами, музыкой, пением, мы сохраним и продемонстрируем всю радость искусства, добытую на костях тысячелетнего рабства, но сейчас же, угадывая дух мирового пульса, мы будем приглашать в музыканты и поэты первого смельчака с революционной улицы. Назовем его анонимным делегатом анонимной толпы. Мы выведем его торжественно на митинги, фабрики и площади, и попросим под огнем миллионов глаз назвать новые инструменты музыки, и может быть он будет первый, кто создаст симфонию рабочих ударов и машинного топота и гула.

Мы сразу пустим в ход нашу фабрику искусства. Она все еще на старых подшипниках и ее шестерни крошатся, но мы ставим новый осеняющий маховик. И пусть ломятся ворота фабрики от напора новых чумазых толп, от которых мы не будем спрашивать ни имен, ни видов на жительство.

А. Гастев. | *М. Бихтер.*

Г. Петников. | *А. Аркатов.*

П. Ильин. | *Б. Вольский*

Всеукраинский Совет Искусств

и летом, сделать в нем комфорт жилья, порядок, аптеку, погребок, гимнастическую площадку.

Не будем забирать большие участки для работы. Будем предпочитать

узкую базу.

И сразу — «на учет» все камни, которые валяются в овраге, гниющие бревна, валежник, брошенное железо. А из города вы привезли инструмента на 2 рубля золотом. Немедленно зарабатывайте на соседней округе, а часть рьяной молодежи пусть готовится к бою, к нападению.

Отряд «разведчиков»

в неделю производит обследование деревни, волости, поселка, речки; дает экономическую географию местности, узнает, что за урожай был в прошлом и позапрошлом году, какой главный бич урожая, какие семена, есть ли огороды, кто из крестьян — пионер новых огородных и полевых культур, кто есть в округе талантливые самородки, грамотеи, есть ли школа, можно ли опереться на учителя, на совет, на деревен-

**А НЕЛЬЗЯ ЛИ НАОБОРОТ: СКАЗАТЬ —
„ТРУДНО“ И ВДОХНОВИТЬСЯ ЭТОЙ ТРУДНОСТЬЮ,
В НАДЕЖДЕ ЕЕ ПОБЕДИТЬ, ИЗОБРЕТА
СПОСОБ ЛЕГКОГО ПРЕОДОЛЕНИЯ.**

ских ребят; есть ли в деревне кузница, как поставленаковка, есть ли точила, какие мастеровые бродят по селам, хорошенько освоиться с дорогами, примерными хуторами.

«Разведка кончена».

Начинается «фиксаж» —

отметки, расчеты, выводы, ориентировка.

Надо произвести выбор. Выбор сделан.

Решили развести огород с рассадой в нем помидор—раз; решили наладить снабжение хорошими косами всей волости — два; поставить запруду у ручья и смонтировать динамо-машину, войти пайщиком в кустарную артель с постановкой в ней ленточных пил с приводом—три; и, наконец, научить мужиков быстрым способом грамоте—четыре.

Разбиваемся на бригады.

В каждой бригаде—«старший», наиболее ловкий организатор с твердым, но ровным характером. У него «подручные»—спецы на исполнительность и мастерство; у него же молодые агенты для связи мелких поручений, курьерства.

ТОВАРИЩИ

ВАМ НУЖНА ВОЛЯ,

ОТВАГА

И ВЫДЕРЖКА.

И начинается работа.

Наш культурный лагерь живет штабной жизнью, бригады пионерствуют.

Лагерь становится фабрикой инициативы, фантазии, суровой лабораторией; бригады — дисциплинированные работники, молодые подвижники культуры.

Лагерь все время держит связь с городом; он даже мечтает о собственном радио, у него то и дело появляются маленькие, но драгоценные посылки книжек, газет, прикладных руководств, идут снимки, устанавливаются проекционные фонари, а вместе с тем около него выросла и маленькая усадьба, лагерь стал чудодейственным хутором.

В лагере

есть свои горя,

есть неудачи, есть дни отчаянной тоски, но есть победные праздники, успехи. И вот тогда-то наши молодые монтеры делают **выступление.**

Они идут «ошарашить» деревни, идут к ближней железнодорожной станции, всю-

ЮНОСТЫ!

ТЫ НЕ ДОЛЖНА ЗЕВАТЬ,

ТЫ ДОЛЖНА ВСЮДУ ПОСПЕВАТЬ.

ду со своим плакатом, с вещами, граблями, топорами, отточенными косами, наждаками, с ручными приводами, с книжками, с ораторами, говорящими с тумбы, — кратко, ловко, зазывающе, но не больше пяти минут.

Самый лучший вид агитации — это

агитация успехом,

демонстрация достижений. Самая опасная агитация — похвала своему делу авансом.

Мы живем своим активным лагерем. Наши бригады в гуще пустырей и разбуженных деревень.

Но мы не одни.

В других дальних дебрях есть наши сподвижники. Мы с ними в связи. У нас есть свои почтовые оказии, свои циркуляры, инструкции. Мы мечтаем об особой газете для культурных монтеров, газете, где есть хроника нашего монтажа на всю Россию — от Белого моря до Черного, от Карельского края до Камчатки. У нас есть свои гонцы, съезды, мы ставим огромное издательство.

**ПОМОЛЧИ
О ШИРОКОМ РАЗМАХЕ,
ПОКАЖИ СЕБЯ
НА УЗКОЙ БАЗЕ.**

Нам весело, нам уже не жутко работать. Наше движение захватывает всё новые толщи молодежи. На нас обратили внимание взрослые, седые люди.

Из наших работ

появились на местах здоровенные проекты прокладок шоссейных путей, осушки болот, районных электрических станций, технических школ. И уж за эти дела взялись общества с большими капиталами, со знатоками, с заграничными пришельцами.

О, тогда не будут, не будут пытаться покупать Россию так дешево, как пытаются покупать теперь.

Мы разбудим и поставим на ноги

всю взрослую деловую культурную интеллигенцию, инженерство будет считать нас смелыми разведчиками, мы будем в авангарде возрождения нашей страны.

Но мы оборотимся и в другую сторону. Детям будем давать читать книжки про наши успехи. Мы создадим увлекательный мир «культурных приключений», изобре-

**НА СОБРАНИИ НИКАКОЙ ОРАТОР
НЕ ДОЛЖЕН БРАТЬ СЛОВА,
ЕСЛИ НЕ МОЖЕТ ЕГО ЗАКОНЧИТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.**

ний, битв и побед. Эти поэмы будут первыми книжками наших детей, и каждый из них будет уже в комнате иметь несессер с альбомом чертежиков, стамесок, топориков, зажигалкой, пучком веревок, — он помешается на постройке маленькой динамо из 4 аршин проволоки.

Надо

пропитать, прорезать

всю страну, все дома, все детские сны, все игры мальчиков и девочек, все праздники этим культурным походом. Пусть все дети поверят, что не елки им надо рассвечивать восковыми свечами в святки, а освещать электрическими лампами необъятные леса и поля и заражать их гомоном топок, колес, всё ломающей работы.

Основные пароли этого движения должны быть:

дисциплина, инициатива, работа.

Инициатива вначале, работа потом, дисциплина всегда.

**ТЕЛО ДОЛЖНО БЫТЬ ВОСПИТАНО,
КАК РАБОЧАЯ МАШИНА.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОБЕДИТЬ, ДОСТИЧЬ, —
ТРЕНИРУЙТЕСЬ,**

Кодекс дисциплины должен быть суров, беспощаден; инициатива должна вырасти в науку, работа должна проводиться на основе тренировки.

Величие движения сразу предстанет во всей своей героической силе, если будет покоиться на совершенно исключительной вере в молодые силы. А поэтому

не надо никаких шефов,

никаких материальных попечений, каждый участник должен делать хоть маленький, но взнос, а организация делает этим взносам немедленный оборот. Шефство можно признать лишь как вербовочные опорные базы, но не шефство-кормежка. Шефство часто носит в себе черты низкопоклонства, нищенства, чванства. Движение монтеров должно быть пропитано гордостью, верой в силу порыва и работы.

Мы сделали революцию, мы поднялись и продолжаем поднимать низы на создание новой, невиданной жизни. Но необъятные просторы дикости давят рассыпанные в дебрях топки нашей культуры.

ВЫРАБАТЫВАЙТЕ ВЫДЕРЖКУ —

ВЫ ПОБЕДИТЕ,

ВЫ ДОСТИГНЕТЕ.

Двинемся же с молодым батальоном в разведку и бой.

Сегодня же поверим в удачу.

Порукой победы: наши неугомонные рабочие руки, красавец топор, молодые лбы и упрямые затылки.

В МАШИНЕ-ОРУДИИ —

**ВСЕ РАССЧИТАНО И ПОДОГНАНО.
БУДЕМ ТАКЖЕ РАССЧИТЫВАТЬ**

И ЖИВУЮ МАШИНУ — ЧЕЛОВЕКА.



ВОССТАНИЕ КУЛЬТУРЫ

БЪЕТ ЧАС

Пора перестать ждать, перестать надеяться на заморское счастье. Из той рухляди, наная осталась, надо начать делать все своими собственными силами.

Россия психологически вступила в такую полосу, которая требует разрядки. Картинно-героический, иллюминационный период революции прошел. Наступила эпоха созиданий, работы. Но она лишь декларирована, она не обозначена в широком действии, методической воле.

Несмотря на всю сложность внутренних политических и социальных окрасок, есть черты, покрывающие одним настроением самые различные группы и слои населения. Этим настроением заражены в значительной степени и революционеры, и

контрреволюционеры, попы и атеисты, старики и юноши, рабочие и капиталисты, простой поденщик и советский сановник.

Эта черта — раздумье, неверие, скептицизм, ожидание.

Даже партийные рамки, по-видимому, не способны обеззаразить широкие массы от этих настроений.

Как безумно мало людей, помешанных на одной определенной организационной идее! О, как мало их, тех, которые способны «долбить». Безумная чехарда перемен ампула, положений, с разными подходами, заданиями продолжается. Только вчера еще он был председателем треста, завтра он уже занят организацией труппы; сегодня он спец по калориям, завтра заведует банями. Революционная эпоха требует, конечно, скачки, но наступила эпоха отстоя, и универсализм превращается в надоедливую паутину.

Время требует инициативы, находчивости, распорядительности, а миллионы образованных, знающих, смысленных людей пребывают в спячке; чтобы заставить их задуматься, воодушевиться, надо чуть не обливать кипятком или, во всяком случае, составлять протокол.

Но всего тягостнее — скептицизм, неверие. Огромные массы работников теперь пребывают в состоянии косного ожидания сторонних неведомых сил. Они убеждены, что придет заграница и «даст»; придут какие-то люди и «ох и заработают». Чем пас-

сивнее люди, тем больше у них всяких ориентаций на внешние силы. Бог теперь «отменен», но вместо бога явилось ожидание урожая, который перевернет Россию и покроет лаком все крестьянские лапти, божественное начало вкладывается во всякого «иностранный представитель» (у которого главная контора в Риге, а отделения в Нью-Йорке и Константинополе); считается признаком политической зрелости вместо «Отче наш» говорить высоким стилем о «солидных капиталах» Антанты и Америки.

Подавляющая масса интеллигенции оказалась не приспособленной ни к темпу войны, ни к темпу революции, ни к темпу нашего возрождения. Психология тихо мерцающего огонька провинциального просветительства, мистического радикализма, земской, третье-элементской неряшливости сказалась в эти годы мировых событий лишь как лень обывателя, убаюканного тихим мерцанием домашних занавесочек и чеховских «настроений».

И теперь, когда война и революция так зло надругались над пацифистскими корнетами, мечтавшими о «небе в алмазах», они кончили скепсисом.

Конечно, те, кто изо дня в день повторяет, что «шапками закидаем», те — тоже ротозеи, те тоже Иванушки-дурачки, но между этими двумя позами, провинциального самохвальства и философского хны-

канья, есть третья, настоящая рабочая поза: неотступного труда и веры.

Хныканье и скептицизм идут рядом с организационной и бытовой неряшливостью. В разоренной бедной стране мы ведем себя так, как будто земля стонет под тяжестью амбаров. Нам вовсе не некогда, мы не спешим. При каждом вопросе, даже архислужебном, мы, прежде всего, даем реплику: «а? что?» И первой мыслью является вовсе не действие, а попытка отпарировать усилие и действие. «А может быть, это и не надо». «А если там скажут»... Словом, вместо простых слов: «слушаю», «да», «нет» — целая философия; недаром у нас в России так много философов и психологов. Быть может, это обратная сторона пассивности, неповоротливости. Быть может, эта философская загруженность — просто запутанность, неряшливость мысли.

Бытовая неряшливость — наше главное зло. «Это мелочь, это пустяк, это поверхностно — требовать, чтобы стол был чистый и бумаги в порядке», — говорили столичные, уездные и деревенские россияне, все время разрешающие мировые вопросы. Каждая аккуратность и требовательность «это — бюрократизм», — говорят неисправимые декаденты, не представляющие даже, что в Европе и Америке уже есть миллионная армия бюрократов, работающая с точностью до минуты, что пролетариат и заводская администрация входят

и выходят в ворота тысячными толпами в течение пяти минут, что вся трудовая Европа без гудков и звонков ложится спать в 10 час., в 6 час. утра уже покупает газету и садится на рабочий поезд.

Пора же, пора нам спохватиться! Пора создать культурные бригады из тех немногих, что приемлют новый темп жизни, новую четкость его шагов, незасоренные линии движений, которые умеют превращать время в пространство и пространство во время.

— Что случилось у нас в России?

Пронесся военно-социальный смерч. С небывалой силой разрушения. Но, к удивлению многих, он не только сохранил свой организующий кратер, но стал обладать невероятным голосом призыва, энергии, воли.

Требует, настаивает.

Конечно, оглушенные не слышат, обожженные лечатся, у многих гноятся души. Есть много таких, которые не соразмерили прыжки, вывихнули ноги и записываются в разряд успокоившихся старичков.

И все же ураган говорит, говорит.

На все эти девять тысяч верст от Петрограда до Владивостока он режет слова:

К ударам, к работе!

И есть уже люди, есть суровые работники новой эпохи, сверлящие своим упрямством ржавые руины разрухи: они рассыпаны по всей России, но лишь не выступили сыгранным хором.

Мы их видим.

Вот они.

Управляющий заводом, сумевший создать новый цех в годы упадка.

Мастер, стоявший на посту в мастерской изо дня в день, как капитан на рубке в шторм.

Рабочий или работница, пробивавшие своими руками и станком трудовой кавардак, как ледокол северные льды.

Строитель станции, работавший под смехи и хныканье кумушек.

Огородник, взрастивший в эти годы кукурузу в районе Москвы и помидоры в Вологодской губернии.

«Спецы» — далеко не коммунисты, но полюбившие новую Россию и новое государство и отдающие себя безо всяких задних мыслей.

Изобретатели, лаборанты, двигавшие науку с юношеской радостью.

Учителя и учительницы, жившие в холодных сараях на корке хлеба, но создавшие армию нового юношества.

Наконец, артисты театра и литературы, говорящие языком конструкций и напора.

Они — эти люди — и есть настоящий командный взвод нашей страны.

К невыстроенным толпам, к разбросанным колоннам народа они бросают жесткую речь:

— Долой панический ритм, от кампании к кампании, от урожая к урожаю, от дож-

дя к дождю, долой все недели чистоты, недели вши, как в древних святцах, долой безверие, ржавчину психики, путаную ходьбу и ротозейство.

К голой методике, тренировке, неотступной, как метроном.

Взять торжественный клочок народного пафоса, всю дерзость революции, пропасть их выверенным колебанием, ровным нажимом.

И все это — в открытой воле, идущей сквозным маршрутом.

Курс на характеры, курс на активных строителей жизни.

Если их нет, их надо родить.

Всюду, на каком угодно месте России, надо начать работать, надо брать жизнь приступом, осадой, осадой методической, упрямой.

Нет железа — делайте из дерева. Не просите и не ждите. Нет носков — берите портянки, но свертывайте их на ноге артистически аккуратно.

При усиллии, или, вернее, при суровом насилии над собой, можно, очутившись в лесу только с огнем, ножом и с полпудом хлеба, развернуть через полгода настоящее хозяйство. Только надо вдуматься на другой же день, как крепче устроить упорные колья для костра, состряпать лопату, смастерить дом, набрать съедобных листьев, ягод и кореньев и даже устроить аптеку.

Надо стать ловкими сыщиками жизни, уметь быстро ориентироваться и разворачиваться.

Надо взять богатый материал военного быта, где люди приучаются быть храбрыми, расторопными и волевыми.

Надо пробудить дух практического искаательства, не молиться ни на авось, ни на дождик, ни на дядюшек с Темзы, а непрерывно вырубать фиксированный лозунг до полного его материального одеяния. Неотступно. С передышками, но не отставая.

Все граждане необъятной страны, заводские работники, граждане полей, лесов, интеллигенты. Лучшие, отборные, сильные.

Идемте же на приступ. Жизнь надо перевернуть. Будемте боевыми, настоящими культуртрегерами. Без тени сентиментализма, жертвы... Идемте через пни, овраги, ржавые болота, спаленные поля — с суровой решимостью новой культурной пехоты. И мы победим, мы выживем. Мы заразим сытых, но анемичных, воскресим голодных, у них вздрогнут измочаленные руки. Мы поставим же, наконец, на колеса эту телегу, которая зовется Россией.

Надо вызвать особое движение, главным лозунгом которого был бы труд, но труд с настроением непреклонной размеренности, вызвать к жизни новых трудовых организаторов, ненавидящих малокровную

умозрительность доморощенных схем и влюбленных в практическую подвижность дела, граничащую с изобретательством.

Выпрямляйтесь, вставайте же всюду, вставайте с орудиями, с теми, какие у вас в руках. Нет мотора — двигайте ногами, нет плугов — копайте лопатой, нет карандаша — пишите углем или старым кирпичом. Немедля — всякий замысел облачайте в материальную оболочку.

Теперь можно заражать народы только постройками, только орудиями, и только в крайнем случае голым словом, но и то непременно категоричным, волевым, как шприц входящим в расслабленное тело.

Стройте организации, объединяйтесь. И не пишите длинных положений, инструкций и уставов. Называйте эти организации: «Грабли», «Сапог», «Сено», «Мостовая», «Пропеченный хлеб», «Здоровая книга», «Короткая фраза». Берите себе в товарищи тех, кто не дискутирует, а репликой кроет два вечера прений, кто понимает вас с полуслова, берите из тех, кто держится «смирно» и впился глазами в грядущую победу.

Начинайте дела без ханжества, веселее, непременно создайте материальный эффект с тем, что есть сейчас под руками. Создадите — тогда из закоулков выйдете на большие дороги, у вас вырвется слово, команда, — к вам придут, и не за помощью, не за куском хлеба, а придут как взбудо-

раженные компаньоны вашего неумолимого марша.

Организуйтесь, будьте портативны. В жизни — как в походе.

Техники, рабочие, сплывайте для дела. Если вас гнетет казенная неповоротливость учреждений или грузность предприятий — организуйтесь в свободные промышленные колонны и упрямо бейте неустанным долотом воли.

Крестьяне, земледельцы, агрономы, на ограниченных участках будьте смелыми робинзонами и заставьте землю вас слушаться, независимо от матушки-засухи.

Военные работники — от командира до рядового — в шеренги! Вносите вдохновенность в ваш строй и покажите, что в стране, лишенной машин, вы — лучший механизм, заставляющий людей четко работать, кратко, но понятно говорить, закалять характер. Сделайте армию корпорацией настоящих тэйлористов с размеренным шагом, очерченным движением, волевым жестом.

Профессора и учителя! Бросьте принципиальное непротивленчество ваших трудовых школ. Рядом с беззаботной прогулкой ребенка по истории культуры делайте ему принудительные прививки энергии и работайте по педагогической инструкционной карточке. Как занимаются культурой животных, так же надо заниматься культурой людей.

Врачи, фельдшера, акушерки! Рядом с

вашей наукой о лекарствах учите каждого пациента, учите всех здоровых — как надо дышать, как надо спать, как научиться мало есть и в то же время хорошо переваривать и быть сытым, научите каждого минимуму хирургии в своем собственном организме.

Юноши, девушки, бегите из комнат, каморок, бегите из тысячи ваших закопченных слащавостью и манерностью студий, бегите на улицы, площади, поля, манежи и организуйте полчища бойскаутов и всевобучистов, где ждет вас испытание в смелости, расторопности, где от вас будут требовать гимнастической настороженности и ежеминутной готовности к действию.

Взрослые граждане, выбитые из колеи интеллигенты, все вы — батальоны нищих, ходящие с мешочками по городам, обыватели, все до одного желающие стать торговцами, — вы провалитесь, вы сгниете, если будете продолжать так дальше. Вы у черты рока. Беритесь, пробуйте по-новому силы в новой России. Перемените еще раз ваше социальное положение и, закрепив его, безоглядно начинайте работать и вспахивать наши равнины.

Равняйтесь же все на этот стиль.

К восстанию, настоящему вооруженному восстанию против тины антипатии, ржавчины голода!

Равнение быстрое.

Дискуссия в перерывах. Для полировки крови.

Всякий, кто примет это равнение, тот — маршевый солдат страны, идущей к подъему страны, которая будет новой, цветущей Америкой. Всякий другой, кто не поднимет эти знамена, всякий другой — лишь влюбленный в голодную берлогу лежака.

Так говорят и делают немногие упорные, что родились и крепили в эти огненные годы.

Их слова сказаны.

Бьет час.

Будем же строиться!

**ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАУЧИЛОСЬ
ОБРАБАТЫВАТЬ ВЕЩИ. —
НАСТУПИЛА ПОРА
ТЩАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
ЧЕЛОВЕКА.**

—

**ЧТО ТАКОЕ НАУЧНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА?
— ЭТО ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСНОВАННАЯ НА СТРОГО УЧТЕННОМ ОПЫТЕ.**

НАРОДНАЯ ВЫПРАВКА

Почти восемь лет прошло с начала мировой войны. Но это не годы, это — пронесся век. В июле 1914 года наш материк сразу дал сумасшедший вольтаж, а через месяц он был изрезан шеренгами, колоннами, окопами и блиндажами.

Канонада, кажется, выворачивала Монбланы. Ученые, писатели, попы, инженеры, рабочие, крестьяне — все заработали, как в тифозной горячке. «Снарядов, снарядов!» — вопила пресса и гудел телеграф. Около одного Вердена пушки выбросили столько металла, сколько вся довоенная Россия добывала в течение года...

Под ружье встали сорок миллионов человек. А Европа и Америка готовили вторую сорокамиллионную смену...

Россия ответила революцией. И к удивлению многих, здесь кроме пения Марсельезы и красных флагов пронеслось настоящее черное знамя грязи, копоты, гражданской войны, голода, людоедства.

Революция вместо отдыха потребовала еще большего напряжения, она взывала

к неистовству и бешенству ударов. России выпало на долю испытать самые кошмарные маневры войны и самые неистовые маневры революции.

Историческое испытание этих восьми лет для нас обозначено рекордом смерти и рекордом голода.

История брала свой реванш. Нельзя в этот век, рассчитанный, выверенный, сурово-методичный, продолжать нашу деревенскую идиллию. Нельзя было дремать и жить от пасхи до пасхи, а после пасхи «на родину в Рязанскую губернию».

Мы даже и забастовки наши проводили весной и летом. Зимой работали, а летом... борьба... вместе с побывкой на родину.

Между тем хотели мы или не хотели, а революция прошла под хозяйственным флагом и сначала, идя большим валом, от полосы к полосе, все больше подходила к хозяйственной методичности, к «мелочи», к «тихой сапе» и тренировке.

Революция экспериментально, почти лабораторно, доказала, что за стихийные подъемы и стихийные реакции в нынешние времена придется расплачиваться катастрофой культуры.

И когда два года тому назад резко обозначился интерес к научной организации труда, к «производственной пропаганде», «производственной идеологии» и потом так же резко спал, это были те же полосы «по-российски». Тут была и наша широкая

ретивость, поскольку это задело широкие массы, тут была и беспомощная оранжерейность, поскольку об этих вещах заговорили нечесанные молодые люди и романтически настроенные девицы.

Теперь со всем этим стало тихо, тихо до беспамятства.

Но все-таки здесь была догадка. Мы дошли уже до границы, мы накануне новой эпохи, когда придется говорить не день, не два, даже не год, а десятилетия, и не только говорить, а делать новую, невиданную до сих пор культуру — культуру трудовую.

Это будет новое социальное движение, это будет стиль наших заводов, наших казарм, школ, специальных обществ, народных гуляний, театров, манифестаций. Оно потребует мобилизаций, потребует своеобразного партизанства и, наконец, даст настоящую трудовую армию, которая теперь просвечивает лишь дымкой исторического замысла.

Вот вкратце контуры этой грядущей культуры, которой должна венчаться наша революция.

1. ОСТРАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ

Надо воспитать мелкую настороженность к жизни, к самому обыденному ее проявлению, утопить эти разлагающие философские обобщения. Вы идете по тротуару, а крестьянин идет болотной тропой:

посмотрите, не два ли разных типа ваших походок — прямая поступь горожанина, рессорный шаг крестьянина; объясните, почему это, и скажите, какая походка приемлема для дальних походов. Подходите к станку. Фиксируйте ваше внимание только на резце и стружке и сделайте то же самое при тихом ходе. И так изо дня в день. Отчеканивайте ваши впечатления. Назавтра их фиксируйте, окрасьте их повторным проверочным наблюдением. Можно быть уверенным, что вы из наблюдений хотя бы над криком торговков на базаре создадите особую науку, или, во всяком случае, самый базар постройте с учетом всего, что на нем происходит.

Наблюдению надо учить всех школьников, всех спортсменов, всех солдат, всю рабочую молодежь, всех рабочих и крестьян, всех граждан. И особенно наблюдению работы с попыткой ее быстро передать, запомнить хотя бы в десятой части.

II. ЛЮБОВЬ К ТРУДОВЫМ ОРУДИЯМ

Что угодно: заводской резец, сверло, топор, молоток, лопата, карандаш, цеп, удило — все это надо признать нашим человеческим сокровищем. Культура орудия шла веками и тысячелетиями, ее создавала стихийная инерция всего человечества. В наше время необходимо изучать какой-либо плотницкий топор так же, как биоло-

ги изучают кровь, как физики — закон магнетизма. В школах надо наблюдать за детьми: на каком орудии останавливается их внимание, закрепить этот интерес и толкать к изобретениям в этой области. Каждое маленькое изменение дает переворот в обработочной технике. Очень распространена банальная мысль, что скоро не нужны будут орудия, все станет делать машина. Но здесь обывательское недоразумение, ведь все орудия, все обработочные машины — это интуиция человеческого тела, человеческого организма. Если даже машина будет триумфально торжествовать, то изучение примитивной инструментальной и механики человеческого тела, может быть, станет еще более внимательным.

В настоящее время обработочные орудия мало любят. А в заводах их ненавидят. И так безнадежно застыли в своей эволюции все эти молотки, рубанки, топоры.

Надо создать в наше время целый культ орудий, создать серьезную новую науку о законах работы орудиями.

III. ШКОЛА ТРУДОВЫХ ДВИЖЕНИЙ

При современной культуре, особенно в России, человеческий труд — организм находится в жалком положении. Им интересуются главным образом врачи, или, вернее, лекаря, и интересуются по долж-

ности. Так, много говорят о растрачивающихся силах, об экономии труда. Но ведь первая наша задача состоит в том, чтобы заняться той великолепной машиной, которая нам близка, — человеческим организмом. Эта машина обладает роскошью механики — автоматизмом и быстротой включения. Ее ли не изучать? В человеческом организме есть мотор, есть «передача», есть амортизаторы, есть усовершенствованные тормоза, есть тончайшие регуляторы, даже есть манометры. Все это требует изучения и использования. Должна быть особая наука — биомеханика, которая может культивироваться в изысканно лабораторной обстановке, а может быть поставлена и в любой домашней комнате, на вольном воздухе, на площадке, в любой мастерской. Эта наука может и не быть узко-«трудовой», она должна граничить со спортом, где движения сильны, ловки и в то же время воздушно легки, механически-артистичны.

IV. ИСКУССТВО РАБОТАТЬ С НАИМЕНЬШЕЙ ЗАТРАТОЙ СИЛЫ

Количество пота, часто выделяемого при работе, часто говорит не о том, что работа трудна, а о том, что именно нет культуры труда. Мы часто работаем как дикари. Мы не совладели с простой вещью: как устано-

вить удобное дыхание при работе; такая установка дается спортсменами и борцами; она применена к чрезвычайно ограниченной части балующегося человечества и не применена к рабочим классам. Наше дыхание очень часто не питает и не облегчает работу, оно препятствует работе.

Мы страшные варвары в распределении наших усилий. Мы «наваливаемся» на работу или уже просто «волим». Надо приучиться к легкому распределению наших усилий.

И как это ни странно, мы не умеем отдыхать. Можем ли мы так лечь на кровать после работы, чтобы сразу отпустить все мышцы и почувствовать, что весь корпус беспомощно проваливается вниз?

Необходимо провозгласить не только академическую, но бытовую, социальную науку об энергетике работника.

Почему, почему горы книг написаны о тепловой энергии, о топках, котлах, паровых машинах, электричестве, антраците, белом угле, электрификации и ничего не написано об энергетике работника?

Почему все заборы заклеены афишами о фарсах, а на заводах нет ни на одной стене, ни на одном верстаке ни одной строчки, как добывать и как расходовать живую человеческую энергию? И это в стране, которая зовется рабоче-крестьянской.

V. ПОДБОР ХАРАКТЕРОВ И НАСТРОЕНИЙ

Сортировка характеров, определение психологии работающего человека и хотя бы приблизительный совет (правда, не гадалческий), куда и как поставить человека, должны стать обязанностью школ, военных частей и заводов. При такой постановке и кретин найдет свое место и сумасброд найдет подходящий бассейн.

Мы должны биться за создание особых графиков рабочих настроений, создание особых кривых работы, создание особых психологических приемов, как «входить» в работу.

Наконец, каждая профессия, каждая рабочая операция, каждый трудовой прием должен иметь свое подходящее настроение, требовать свой характер.

VI. ТРЕНИРОВКА

Но вот где настоящая целина, где не ступала нога ученого и практика. Хоть родить, да надо сделать эту науку о трудовых учебных тренировках. Есть тренировка скрипача, танцора, акробата, фехтовальщика, но нет самой главной тренировки — настоящего труда. Надо распространить на все наши рабочие и крестьянские миллионы особые тренировочные рецепты: как тренировать, воспитывать, обучаться правильному удару, как обучаться быстрому нажиму, как научиться распределять дав-

ление. Во всем народе надо распространить дешевые тренировочные модели трудовых упражнений. Если прежде «гимнастика Мюллера» была в комнате барчука или любителя, тренировочные модели должны быть не только в заводах, а в каждой крестьянской избе. И пусть эта новая настоящая трудовая педагогика двинет народную культуру так же, как двигала ее какая-нибудь прививка против эпидемических болезней.

VII. ЭКОНОМНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ВЕЩЕЙ И ЛЮДЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ

Нашу страну, глубоко деревенскую, захолустную, где порой, кажется, пропадают целые уезды, где вдруг «открывают» стоверстные, незарегистрированные лесные участки, — нашу страну надо о-город-ить, надо урбанизировать.

Кратчайшая линия, выигрыш пространства, законы движений многих тел с разными скоростями и встречами по ограниченному количеству линий, распланировка и расстановка на крохотном участке сложного предприятия — вот кодекс новой инженерной науки о постройке движений. Эту науку надо знать солдату, городскому голове, милиционеру, швейцару, командиру, сельскому старосте, а не только строителю железных дорог и телеграфному мастеру.

Вот комплекс той культуры, за которую надо биться нашей стране. Если она не усвоит этот новый инженерный тон эпохи, если снизу доверху не будет поставлено воспитание всего народа, если не будет методически прививаться эта народная выправка, нас обьедет горожанин Европы и Америки, горожанин, далеко уже не так развитой и знающий, но лозко портативный и тренированный.

И как бы мы ни спорили о том строе, в котором теперь живем, ясно одно: его социальное содержание требует новой культуры, пропитанной работой, энергией, выдержкой.

**ОРГАНИЗАЦИЯ —
ЭТО
ЛИНИИ,
ПО КОТОРЫМ БЫСТРО ХОДЯТ
АВТОМАТЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ, МУСКУЛЬНЫЕ, НЕРВНЫЕ.**

ВОССТАНИЕ КУЛЬТУРЫ

Монтеры!

Вот вам выжженная страна.

У вас в сумне два гвоздя и камень.

Имея это, — воздвигните город!

1. ЭЛЕМЕНТЫ НОВОЙ ВОЛИ

Молодая страна с непроходимым пластом тайги, с четырехсоттысячеверстными реками, с бескрайними равнинами, по которым на бешеных ходулях мчатся бураны, страна, чуть вышедшая из стадии кочевья, европо-азиатская громада — Россия, где по уши завяз и чуть не утонул в болоте Петр I, — эта страна издавна звала к гигантскому революционному жесту.

Галерея больших людей шла, отмеривая столетия, зарева восстаний маячили народу, пока наконец зенитным огнем не испепелила величайшая из всех революций — трусливую хлюпость зевак и созерцателей.

Вдохновенная революцией власть, подлинное дитя социального восстания, должна поставить задачу — как обрабатывать эти восставшие массы, как сообщить им новую науку быстрой самообработки. Чтобы не только победить, а побеждать непрерывно.

Что же бросать в массы?

Какие обработочные методы и какие элементы обработок?

— Прежде всего

сила.

Сила без кавычек, самая настоящая, элементарная, физическая сила.

Долго, слишком долго жили в ханжеском отрицании силы.

Сила должна быть элементом всего социально-культурного движения. Ее надо реабилитировать, делать, воспитывать, поощрять. Пусть все массы научатся ощущать силу, дышать этой силой, знать ее грубый восторг.

Сила должна создавать

работу.

Методичная работа мускулатуры, наука отдыха, наука рабочей мобилизации, моментальной иммобилизации, работа изолированным участком, работа, проведенная в порядке уплотнения функций.

Ловкость

...вот что должно быть наиважнейшей идеей культуры. Ловкость — это искусство конструировать движения, искусство, которое

поддается практически беспредельному успеху, теоретически обрабатывается до микроскопической точности.

Если силу мы можем трактовать как преимущественно физиологическую функцию, работу — как физиологию, осложненную психологией (искусство регулирования движений), то ловкость — это динамическая психология, самое важное качество века, в котором выступают классы, желающие не умирать, а биться.

Из всех этих элементов вырастает совершенно неизбежно

храбрость.

Нанесение удара, при котором надо преодолеть нерешительность, проведение движения с уверенностью за каждый атом работы, чеканная меткость — социальная уверенность класса, сделавшего революцию.

Далее мы отмечаем

зоркость,

следопытство как результат долгих социально-политических упражнений и стратегических хитростей, битв. Зоркость необходима простая, незамаскированная, такая, какая есть у дикаря или у европейца, воспитанного в бойскаутизме.

И, конечно, недостаточно быть силачом и ловкачом, надо в наше время иметь качество

монтера,

человека, способного быстро собирать, монтировать, конструировать, изобретать, быть молниеносно находчивым, обладать запасом житейски необходимой фантазии и подкованной памяти. Все эти качества создают

организационную сноровку,

расчетливость.

Это не та сноровка и расчетливость, которую знает европеец или американец. Нет, это нечто высшее. Там эти качества воспитались в обстановке экономической борьбы на фоне известных отстоявшихся норм. У нас идет экономическая борьба, требующая ежеминутно новых ориентировок, ибо эволюция форм и организаций безостановочна.

Надо создавать армии физических, психологических и организационных силачей.

По этим линиям надо воспитывать,

тренировать,

надо делать

подборы

работников культуры.

Набор этих армий должен дать

социальные низы,

главным образом рабочая молодежь, которой надо кинуть декларацию: будь смелей, стреляй дальше, в самые запретные дали!

II. В КАКОЙ ЖЕ ФОРМЕ?

В форме новой своеобразной робинзонады. Мы должны быть колонизаторами своей собственной страны. Мы — конечно, нас небольшая кучка в аграрном пустыре — автоколонизаторы.

У нас есть превосходная свежесть идей, мы молоды; но у нас нет материального могущества Запада и Америки, закованных в блиндажи, рельсы и швеллера. Но жить нам надо. Нам надо воскреснуть, поднять к небывалой жизни огромный материковый пласт. И еще больше. К нам явно тяготеют азиатские народы. Они нас считают испытанными забияками в борьбе с империалистическими плюшкинами. Мы — вожаки огромной миллиардной массы людей Европы и Азии.

И в то же время мы находимся в неслыханной схватке с технически вооруженным культурным врагом — Европой и Америкой.

Они уверены, что нас раздавят. Их уверенность растет.

Надо призвать на помощь то, что мы можем иметь: силу, работу, ловкость, храбрость, зоркость, организационную сноровку. Надо взять на магниты революционные низы.

И надо постараться, даже не имея технических материальных запасов, с этими качествами разрешить нашу культурную проблему. Именно так, а не иначе теперь

стоит вопрос. Самое рождение техники мы должны поставить в зависимость от работы перечисленных выше качеств.

В Европе и Америке есть явления, штрихи, которые позволяют нам реальнее представить организационное выражение тех качеств, о которых мы говорили выше.

Прежде всего,

спорт.

Можно не спорить о его формах, но лишь признать, что он обязателен, как элементарная грамотность. Десятитысячные толпы должны смотреть на выставки тела, энергии, ловкости и мужества. Цирки, бега, состязания, игры, борьба, жонглерство — все это надо принять без благочестивых идейных прений с православным душком.

Бойскаутизм.

Потрясающая идея юных робинзонов, изобретателей, суровых игроков и подвижников. Бойскаутизм родился как синтез европейской культуры с колониальным дикарством. Его надо взять весь целиком, кроме ханжески-патриотических и поповских элементов.

Интерес к примитиву, к обыденному.

Этому надо поучиться и у Германии (безмоторные аэропланы), и у Америки (упрощение производства), но настоящий пафос этого интереса надо создать у нас. Молоток, клещи, колесо, карандаш, спички, полено — все это надо заставить изучать

с точки зрения открытия в них сенсаций, о которых обыватель и не подозревает.

Нам надо создавать особых

«дельцов» культуры,

не этих писателей популярных компиляций об идеях, которыми наполнены теперь магазины, а талантливых творцов — монтеров практических систем по всем линиям культуры.

Любовь к труду, к конструктивной легкости физической работы, работы опрятной, артистичной.

Дело ведь идет о перевороте. Дело идет о невиданном новом пласте культуры. Дело в том, чтобы каждый гражданин-ребенок или даже гражданин-юноша своевременно прошел (поступил он в школу или нет, это все равно) особый «призыв» к труду, аналогично воинской повинности. Его надо окунуть в систему тонко разработанного тренажа. Надо создать общеобразовательную подготовку, имея которую каждый подросток мог бы быстро овладеть любой профессией.

Эта наука будет иметь целый ряд новых дисциплин, невиданных, неслыханных, но крайне простых и в то же время культурно-революционных.

Надо научиться ловко, сильно и метко ударять, пройти науку удара. Несомненно, появятся талантливые рабочие и профессора, которые напишут на эту тему интересные книги. Надо научиться нажимать:

воспитать мускулатуру и психику для тонких нажимных обработок. Далее пойдут методы вращений, подъемов, натяжений, переносок на большие дистанции, передвижений, подач и, наконец, микроподач.

Мы увидим тогда, как совершенно естественно образуется

социальный подбор:

будут создаваться бригады ударщиков, нажимников, приплотщиков, монтеров; организируются отделения конструкторов, микромоторников и проч.

Вот тут-то и родится спасающий нас интерес к примитиву, пустяку, из которого можно делать чудеса. Мы тогда-то создадим массовый институт ратников культуры. У каждого ратника должно быть свое оружие, свой ранец, свой

несессер культуры.

В этом чудесном ларце, может быть, будет много инструментов, может быть — целый мир приспособлений, но они сложены в такой уплотненной технической погребец, что будут не больше маленькой корзинки. А могут быть и другие виды несессера. В них будет мало, до безумия мало приспособлений, но в то же время «тысяча и один» способ монтажа. Может быть — две спички, один камень, палка и... все.

Ратник воспитан. Он так тренирован, что моментально может усвоить мобилизационно-психологическое состояние,

встать в «смирно» и заработать. Ратник — изысканный комфортный пионер. Он делает из соломы и земли шалаш и так в нем развернет работу, что шалашу позавидуют мастерские и заводы.

Ратники могут работать партиями. Они могут странствовать, они могут быть колонизаторами, они могут смонтировать кареты скорой культурной помощи, вагоны помощи, шатры помощи, котомки помощи... Их можно в известный момент рассыпать по улицам, городам. И улицы должны быть культурно завоеваны, сначала демонстративно, затем прочнее, солиднее.

Ратники должны знать свою культурную «тревогу». По газетному аншлагу, по условной фразе в депеше они должны встать и мчаться для подачи культурной помощи.

III. БАЗА

Хочется утверждать со всей решительностью и резкостью, что у нас уже бродят дрожжи этих идей, стимулов и жестов.

Но они не спаяны, они ждут конструкторов.

Разве наши юношеские организации не имеют уже эти бациллы? Утверждаем, что да, но в них не хватает твердой ориентации на катехизис трудовых и организационных приемов.

Напрасно, однако, думать, что это единственная организация, которую надо иметь

в виду как аппарат воздействия и форму выражения набросанных здесь идей. Вот их пересчет.

Прежде всего

семья

не должна оставаться вне поля зрения. Надо учесть вдохновенную интуицию Монтессори, утонченный экспериментализм психологов-специалистов по детскому воспитанию, хотя бы ворваться в мир детских игрушек и создать чудеса монтажа для малюток, чудеса дешевые, неожиданно-обходимые. Это — одна из форм втягивания семьи.

Конечно,

школа,

самая элементарная, начиная с детских садов, кончая рабфаками и вузами, она вся должна быть захвачена культурным ратничеством. Здесь только надо бы резче разделить пространственные и временные участки воздействия на учащихся от их свободной самодеятельности.

Союз молодежи

должен быть пронизан, пропитан, тренирован до мелочей в духе культурного ратничества. Полмиллиона молодежи, полумиллион, шествующий по России с несессером культуры.

К нему примыкает

всеобуч,

рядом с ним —

бойскауты

и всех видов

спорт,

все эти организации — готовые формы для культурных разводов.

С этой точки зрения надо пересмотреть все созданные революцией организации, и даже такая, казалось бы, близкая этому культурному ратничеству организация, как

фабзавуч,

должна быть поставлена «под ранец», она должна вводить в

заводы

принцип подвижной портативности. Пожилых рабочих перевоспитывать трудно, молодняк фабзавуча можно быстро приспособить. На наших фабриках и заводах должны быть созданы особые культурные полосы, которые бы фиксировали не только культурно-просветительную работу, а настоящую культуру труда. Такие цеха, как котельный (удары), инструментальный (нажимы), приспособительные и ремонтные (монтаж), должны быть оранжереями труда, мастерского жеста, организационной подвижности.

И разве так нелепа в нашей революционной стране идея

трудового чемпионата,

когда будет венчаться наградой тонко проведенная трудовая операция перед тысячью глаз профессионально-искушенных

рабочих? В этом чемпионате могут быть величайшие открытия физиологического, технического и организационного характера.

Если мы будем ловко владеть нашим шприцем для культурных впрыскиваний, то все формы нашей организационно-социальной жизни будут годны для работы.

Обратим внимание на

армию,

в которой идея культурно-трудового несесера встретит отклик, даже если смотреть на солдата как на субъекта боя. Бить, поражать этот воин будет лучше, если он одновременно имеет у себя и «ранец фронта» (винтовка, пуля, граната) и несесер тыла. Он должен быть не только у сапера; хоть с полфунта весом, но он должен быть у каждого воина; воин в любом месте должен не только уметь биться, но и закрепиться, и не окопаться только, а немедленно создать минимальный комфорт и удобства. Если же считать, что армия не только орган боя, но и орган быстрейшего культурного закрепления территории,— ясно, надо приобщить ее к культурному ратничеству.

Учтем и такую организацию, как

милиция.

Милиционер — это не зевака. Это — организатор уличного движения, дирижер города, а с другой стороны, это как раз агент скорой социально-культурной помощи. У него в руке должна быть уже не палка,

а семафорчик, а у пояса — особый кобур с кусачками, бечевкой, ломиком и домкратиком. Пусть милиционеру приходит в голову не только протокол, когда произойдет несчастный случай, но быстрая техническая и социальная помощь. Сельская милиция тоже не должна считать своей главной обязанностью составлять «самогонные» протоколы, она должна быть полевой революционной жандармерией (извиняюсь за термин) и знать элементарную азбуку культуртрегерства. С таким же настроем надо подходить ко всем институтам, которые сосредоточивают огромные массы людей для разных регистраций, отбывания повинностей, тем более что в этих организациях есть огромная инерция костности. Таковы, например,

биржи труда

с огромными армиями безработных, с их кошмарным количеством потерянных часов. Таковы разного рода

места заключения

для малолетних преступников, взрослых рецидивистов и пр.

И так шаг за шагом мы переберем все организационные устои современной культуры и начнем их выпрямлять.

Нам нужно жить. Нам нужно победить. Нам нужно превзойти все страны своей энергией.

Мы должны устроить настоящее восстание культуры.

На громадном материке мы воскресим и возвеличим гениальный образ Робинзона, сделаем его шефом нашего культурного движения.

И мы верим, из руин и пепла вырвутся лестницы, по которым дорога — и удача.

**ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ
„НА ЧЕРНО“
ДЕЛАЙТЕСЬ
АРТИСТАМИ
РАБОТЫ.**



КАК НАДО РАБОТАТЬ

Мы проводим на работе лучшую часть своей жизни.

Нужно же научиться так работать, чтобы

*работа была легка
и чтобы она была постоянной
жизненной школой.*

КАК НАДО РАБОТАТЬ

Правила

Работаем ли мы за канцелярским столом, пилим ли напильником в слесарной мастерской, или, наконец, пашем землю — всюду надо создать трудовую выдержку и постепенно сделать ее привычкой.

Вот первые основные правила для всякого труда:

1. Прежде чем браться за работу, надо всю ее продумать, продумать так, чтобы в голове окончательно сложилась модель готовой работы и весь порядок трудовых приемов. Если все до конца продумать нельзя, то продумать главные вехи, а первые части работы продумать досконально.

2. Не браться за работу, пока не приготовлен весь рабочий инструмент и все приспособления для работы.

3. На рабочем месте (станок, верстак, стол, пол, земля) не должно быть ничего лишнего, чтобы попусту не тыкаться, не суетиться и не искать нужного среди ненужного.

4. Весь инструмент и приспособления должны быть разложены в определенном, по возможности раз навсегда установленном порядке, чтобы можно было все это находить наобум.

5. За работу никогда не надо браться круто, сразу, не срываться с места, а входить в работу исподволь. Голова и тело потом сами разойдутся и заработают; а если приняться сразу, то скоро и себя, как говорится, зарежешь и работу «запорешь». После крутого начального порыва работник скоро слабеет, и сам будет испытывать усталость и работу будет портить.

6. По ходу работы иногда надо усиленно приналечь: или для того, чтобы осилить что-нибудь из ряда вон выходящее, или чтобы взять что-нибудь сообща, артельно. В таких случаях не надо сразу налегать, а

сначала приладиться, надо все тело и ум настроить, надо, так сказать, зарядиться; дальше надо слегка испробовать, нащупать потребную силу и уже после этого прина-
лечь.

7. Работать нужно как можно ровнее, чтобы не было прилива и отлива; работа горяча, приступами портит и человека и работу.

8. Посадка тела при работе должна быть такая, чтобы и удобно было работать и в то же время не тратились бы силы на совершенно ненужное держание тела на ногах. По возможности надо работать сидя. Если сидеть нельзя, ноги надо держать расставленными; чтобы выставленная вперед или в сторону нога не срывалась с места, надо устроить укрепку.

9. Во время работы надо обязательно отдыхать. В тяжелой работе надо чаще отдыхать и по возможности сидеть, в легкой работе отдыхи редкие, но равномерные.

10. Во время самой работы не надо кушать, не пить чай, пить в крайнем случае только для утоления жажды; не надо и курить; лучше курить в рабочие перерывы, чем во время самой работы.

11. Если работа нейдет, то не горячиться, а лучше сделать перерыв, одуматься и приняться снова, опять-таки тихо; даже нарочно замедлять, чтобы себя выдержать.

12. Во время самой работы, особенно когда дело нейдет, надо работу прервать,

привести в порядок рабочее место, уложить старательно инструмент и материал, смести сор и снова приняться за работу, и опять-таки исподволь, но ровно.

13. Не надо в работе отрываться для другого дела, кроме необходимого в самой работе.

14. Есть очень дурная привычка — после удачного выполнения работы сейчас же ее показать; вот тут обязательно надо «вытерпеть», так сказать, привыкнуть к успеху, смять свое удовлетворение, сделать его внутренним; а то в другой раз, в случае неудачи, получится «отравление» воли и работа опротивеет.

15. В случае полной неудачи надо легко смотреть на дело и не расстраиваться, начинать снова работу, как будто в первый раз, и вести себя так, как указано в 1-м правиле.

16. По окончании работы надо все прибрать: и работу, и инструмент, и рабочее место; все положить на определенное место, чтобы, принимаясь снова за работу, можно было все найти и чтобы самая работа не опротивела.

ЕСЛИ К ЭТОМУ

САМ

ДОБАВИШЬ ПРАВИЛО,—

СТАЛО-БЫТЬ,

ВТЯНУЛСЯ В ДЕЛО.

КАК ИЗОБРЕТАТЬ

Если кто серьезно говорит о научной организации труда, тот должен знать: чтобы проводить ее, надо непременно

быть изобретателем.

Предположим, что мы сегодня усвоили все правила научной организации труда. Мы знаем, хорошо знаем, что такое система Тэйлора, мы превосходно усвоили, что такое нормализация, но чтобы подойти к какой-нибудь конкретной работе, к этой работе нормализации, и при всяких условиях проводить там принципы научной организации труда, для этого надо обязательно быть изобретателем.

Собственно говоря, все большие люди, которые выработывали принципы научной организации труда, были изобретателями. Изобретателем был Тэйлор, изобретателем был Джильбрет, изобретателем был Форд. Но то же самое можно сказать и о каждом рядовом человеке, который будет проводить эту организацию. Ведь все дело в том, как соединить очень простой принцип порядка и расчета (научная организация

труда) с совершенно конкретной действительностью. Как только мы столкнулись с этой действительностью, вопрос ставится так, что обязательно нужно изобрести, обязательно нужно выйти из положения, обязательно нужно рассчитать и создать совершенно новую комбинацию, совершенно новый порядок работы, новые приспособления, новые инструменты — словом, надо так

при-но-ро-вить-ся,

чтобы обязательно что-нибудь в высшей степени важное, практическое выдумать.

Отсюда ясно, что необходимо каждому, кто серьезно будет говорить о научной организации труда, необходимо каждому быть хотя бы небольшим, но изобретателем.

КАК НАУЧИТЬСЯ ИЗОБРЕТАТЬ

Теперь очень много народу носится с разными изобретениями, но, конечно, очень много людей остывают после первой неудачи как в самой технике изобретения, так и проведения этого изобретения в жизнь. На изобретениях

пробуются характеры.

Настоящий изобретатель не будет обращать внимания на то, что его холодно приняли, что ему была загорожена дорога; он будет испытывать несколько неудач, он бу-

дет переживать черные дни, но все ж таки он добьется своего. Вспомним, что такие изобретатели, как Эдисон, в своей ранней юности влачили жалкое существование: их третировали, над ними надругались, их попросту гнали, но они все же вышли на широкую дорогу. Первое качество, которое нужно иметь изобретателю, — это

непреклонная воля к действию,

энергия, которая не будет останавливаться перед временными неудачами, характер, который от несчастья только закаляется. Но кроме энергии нужно иметь еще несколько качеств для изобретателя.

Так, совершенно необходимое качество для него — это

наблюдательность.

Изобретатель должен обладать как общей наблюдательностью для того, чтобы схватывать общий вид какого-нибудь явления, машины, события, так в то же время должен обладать

наблюдательностью мелочной,

которая требует прикованного внимания. Эта мелкая наблюдательность выражается в том, что человек может останавливать в любой момент свое внимание на том, на чем пожелает. В каждом сложном явлении, в каждой сложной машине он должен рассмотреть некоторые части как бы в подзорную трубу, строго очерчивая тот малень-

кий район, который ему нужно наблюдать; он своим глазом, своим вниманием в сложном предмете должен научиться как бы освещать одно определенное место прожектором и наблюдать его, абсолютно не обращая внимания на всю другую сложность, которая окружает данное место. Для изобретателя требуется не только так называемый широкий размах, но для него требуется исключительная «мелочность». Не надо думать, что изобретатель — это человек, который интересуется только контуром; он должен интересоваться

каждым штрихом,

он должен своим глазом, своим пальцем, своим ухом проникнуть в каждую щель, в каждую скважину и пору того предмета, который он изучает. Если ему не позволяют глаза, уши, пальцы, то он должен прибегнуть к

измерительному инструменту,

к микроскопу, рупору, электрическим звонкам, электрическому проводу и т. д., но он должен докопаться до того тайника, который не только мелкий, но микроскопически мелкий. Итак, одним из главных качеств изобретателя должна быть самая тончайшая наблюдательность, строго очерченная.

Отметим теперь еще важное качество, которое необходимо для изобретателя, — это способность анализа, то есть

способность разлагать

все сложное на мельчайшие элементы (части), это чрезвычайно суровая способность, которая рассчитывает исключительно только на большую работоспособность. Главный инструмент этой работы — нож, который беспощадно режет все сложное на отдельные маленькие явления, на отдельные маленькие части. Анализировать, то есть разлагать, можно или в пространстве, или во времени. Сравнительно просто разлагать сложные явления

в пространстве,

ибо предполагается, что сложный предмет стоит, что его можно спокойно разглядеть, а следовательно, и разлагать. Нужно научиться делать так, чтобы вы предмет, находившийся в спокойном состоянии, всегда могли видеть конструктивно, а не в виде общей массы. Видеть предмет конструктивно — это значит понимать, из каких частей он состоит и какая часть действует одна на другую. Это значит — знать, что если одну часть вынуть, то все другие превращаются в мертвечину. Гораздо труднее научиться предмет или механизм разлагать

во времени.

Это значит, что вы час от часу, минута от минуты, секунда от секунды ясно представляете себе картину его работы, его действия. Надо сказать, что в работах различных машин и механизмов очень много не-

уловимого, которое трудно узнать простым глазом. Для этого употребляется целый ряд

временных измерителей:

часы, хронометр, фотосъемки, киносъемки, записывание звуков различного рода механизмами, записывание давления различного рода приборами и т. д. Но изобретатель должен, даже не прибегая к таким сложным аппаратам и приборам, воспитать в себе привычку по различным намекам, по различным оттенкам движений, по случайным колебаниям узнавать особенность данного движения и понимать, чем оно вызвано. Он должен суметь, чтобы при каком бы то ни было движении предмета он мог бы так построить свое внимание, чтобы обращать внимание только на одно какое-нибудь явление.

Следующее качество, которое необходимо изобретателю, — это

фантазия,

но только изобретатель должен быть фантазером, понятно, не таким мягким и идиллическим, который мечтает о молочных реках в кисельных берегах, а он должен быть суровым, подвижным, конструктивно мыслящим фантазером, который может

быстро сближать

одно явление с другим; он может моментально провести данное явление во всевоз-

возможных сочетаниях; он может с быстротой молнии вспомнить, не повторялось ли данное явление в какой-нибудь другой машине, в каком-нибудь другом аппарате или другом событии. Он, следовательно, должен обладать

величайшей памятью

и памятью такой, которая врезывается в голову картинно, то есть изобретатель должен быть живым воображением. Изобретатель должен уметь, после своего режущего аналитического упражнения, при посредстве фантазии так быстро и молниеносно связывать одно явление с другим, улавливать одну похожесть с другой, чтобы у него действительно получался

момент вдохновения.

Изобретатель делает свои открытия как раз в результате способности фантазии. Его открытость получается как раз в тот момент, когда он что-нибудь строго разложил, что-нибудь основательно понаблюдал и потом моментально, при помощи своей огромной памяти, быстро нашел похожее явление в других сочетаниях и это самое явление присоединил к другому. Вот этот момент есть самый большой, праздничный момент изобретателя. Из этого ясно, что этот момент приходит

самым последним;

этот момент приходит в результате длительной суровой работы, которая требует

огромной выдержки. Празднику изобретательства предшествуют суровые дни сурового искательства. Итак, для того, чтобы быть изобретателем, требуется:

**НЕПРЕКЛОННАЯ ЭНЕРГИЯ,
ТОНКАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ,
АНАЛИЗ,
ПАМЯТЬ,
ВООБРАЖЕНИЕ,
ФАНТАЗИЯ.**

Списать,
слизать,
скопировать,—
это пустяки делов,
а вот
приноровиться
к новому делу,
тут уж надо изобретать.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий сборник вошли произведения А. К. Гастева из его художественных и научно-публицистических книг первых лет революции и двадцатых годов, в течение ряда лет не переиздававшихся. Сборник составлен таким образом, чтобы читатель смог получить разностороннее представление о Гастеве — революционере, поэте и видном деятеле в области организации труда.

Гастев начал заниматься литературой задолго до Октября и в непосредственной связи со своей революционной деятельностью. Ведя жизнь революционера-профессионала, он печатался анонимно или под псевдонимами (главным образом И. Дозоров и А. Зорин) в разных изданиях, часто недолговечных, менявших свои названия или конфисковывавшихся.

Первая книга Гастева — «Поэзия рабочего удара» — вышла после Октября. Вместе с дореволюционными произведениями автор включил в нее вещи революционной поры. Частью они были предварительно напечатаны и перепечатаны центральными и периферийными периодическими изданиями того времени, теперь труднодоступными. Установить первую публикацию произведений, вошедших в «Поэзию рабочего удара», удалось не во всех случаях. В примечаниях отмечается наиболее ранняя из выявленных публикаций.

ПОЭЗИЯ РАБОЧЕГО УДАРА

«Поэзия рабочего удара» впервые вышла весной 1918 года. Она была первой книгой, изданной Петроградским пролеткультом. Некоторые произведения из этой книги получили известность еще до ее выхода, так как их исполняли с эстрады. Вечера с чтением произведений Гастева пользовались в рабочей и красноармейской аудитории неизменным успехом.

Выход «Поэзии рабочего удара» был отмечен пролетарской прессой (Ф. Калинин, «Путь пролетарской критики» и «Поэзия рабочего удара» А. Гастева». «Пролетарская культура», 1918, № 4; В. Фриче, «Поэзия железной расы». «Вестник жизни», 1918, № 2; его же, «Торжествующая песнь кованого металла». «Творчество», 1918, № 2 и др.). Позднее о книге Гастева писали: В. Брюсов («Вчера, сегодня и завтра русской поэзии». «Печать и революция», 1922, № 7), В. Хлебников («О современной поэзии». «Пути творчества», Харьков, 1920, №№ 6—7) и др.

В первом издании «Поэзии рабочего удара» были произведения двух нынешних первых разделов, тогда еще не озаглавленных. То же и в несколько сокращенных изданиях 1919 г. в Петрограде и 1921 г. в Саратове. В харьковском издании 1919 г. появились заглавия: «Романтика» и «Машина», и оно пополнилось новым разделом — «Ворота земли». Окончательно состав книги сложился в пятом издании (ВЦСПС, М., 1923). В предисловии к нему автор кратко сообщил историю создания книги и привел интересные сведения об отдельных произведениях (стр. 23). Последним изданием «Поэзии рабочего удара» было шестое издание (ВЦСПС, М., 1926), снабженное новым предисловием автора (стр. 28). По этому изданию печатаются тексты настоящего сборника.

Мы растем из железа (стр. 35). Вошло во все издания как введение к «Поэзии рабочего удара». Написано в 1914 г. во время работы на

машиностроительном заводе Сименс-Гальске в Петрограде; см. об этом предисловие к пятому изданию (стр. 24). Произведение пользовалось большой известностью и многократно перепечатывалось в различных сборниках, хрестоматиях, периодических изданиях.

Романтика

В трамвайном парке (стр. 37). Напечатано в «Правде труда», №№ 10 и 11, 21 и 22 сентября 1913 г., подпись: И. Дозоров. Вошло в издания 1923 г. и 1926 г. Написано в 1913 г. В основу положен действительный случай. См. об этом предисловие к пятому изданию (стр. 24).

Пороховые — район окраины Петрограда Охты, где находились Охтинские пороховые склады. ... по Тэйлору. Тэйлор (Тейлор) Фредерик Уинслоу (1856—1915) — американский инженер, первый представитель течения, получившего впоследствии название «научной организации труда» (НОТ). Основываясь на многочисленных экспериментальных данных, относящихся главным образом к металлообрабатывающему производству, разработал систему мероприятий, обеспечивающих резкую интенсификацию и, как следствие, повышение производительности труда. Занимался также вопросами рационализации профессионального обучения и управления предприятиями. Достижения Тейлора и его последователей были учтены и развиты при разработке оригинальных методик ЦИТА.

«Листок» — сокращенное название еженедельного юмористического приложения к «Газете-копейке» — «Листок-копейка», выходившего в Петербурге в 1909—1914 гг.

Звоны (стр. 59). Напечатано в «Правде» № 132, 11 июня 1913 г., подпись: И. Дозоров. Вошло во все издания. В статье «Правда» в рабочем квартале», вспоминая о своем сотрудничестве в «Правде», Гастев рассказал, как создавались «Зво-

ны»: «Работая в области построения теоретически-производственных вопросов, я считал нужным передать свои идеи в художественной форме. Первым в этом отношении произведением явились «Звоны». Я писал его буквально на слесарном верстаке в отделении «приplotки». И послал в «Правду» — по почте. Очень быстро «Звоны» были напечатаны под псевдонимом Дозорова. Они читались вслух тут же на заводе моими соседями, которые не знали, что автором был сосед по верстаку... Я понял тут же, что угадал и настроение и среду» («Правда», № 99, 5 мая 1927 г.).

Осенние тени (стр. 63). Напечатано в газ. «За правду», № 21, 27 октября, 1913 г., подпись: И. Дозоров. Вошло во все издания. Написано во время петербургских забастовок 1913 г. См. об этом предисловие к пятому изданию (стр. 25).

Иван Вавилов (стр. 67). В издания 1919 г. (Пг.) и 1921 г. не вошло. О мотивах рассказа см. предисловие к пятому изданию (стр. 25).

Коммерческая гостиница — гостиница в Петрограде на Караванной улице.

Дом графини Паниной — Лиговский народный дом в Петрограде на Тамбовской улице, учрежденный на средства графини С. В. Паниной, был культурно-просветительным центром рабочих Московской заставы. Там работали вечерние классы для рабочих, библиотека, устраивались лекции, спектакли. Большевики использовали возможности Дома для легальной и нелегальной политической работы.

«Сан-Галли» — чугунолитейный и механический завод Сан-Галли на Лиговской улице.

Обуховский — Обуховский сталелитейный завод на Шлиссельбургском проспекте.

«Вулкан» — механический и литейный завод на Большой Спасской улице.

Завод Фридмана — по-видимому, вымышленное название.

Сильнее слов (стр. 87). Вошло во все издания. В рассказе изображен старик, которого автор встречал на одном из парижских заводов. См. об этом предисловие к пятому изданию (стр. 26). Портрет этого старого рабочего дан также в очерке А. Зорина (Гастева) «Старики» из цикла «Рабочий мир»: «Когда-то он был здоров и силен. Рост его ведь и сейчас сохранился; хоть и высох он, а видно, что плечи широкие. Он солдат; воевал с Россией в Крыму, участвовал во Франко-прусской войне, а после войны вот поступил на завод и работает на нем уже сорок лет! На заводе прежде кранов не было, и громадные машины передвигали вручную; это он их ставил. Потом вот перевели на эти наждаки. И теперь уже тридцать лет, не выходя, он работает на них, сидит в этой пыльной клетке. Медленная мучительная пытка — во славу европейской цивилизации» («Жизнь для всех», 1912, № 1, стр. 80).

Я люблю... (стр. 92). В издания 1919 г. (Пг.) и 1921 г. не вошло.

Мы идем! (стр. 94). Напечатано в журн. «Металлист», 1914, № 1 (38), стр. 3, подпись: И. Дозоров. В издания 1919 г. (Пг.) и 1921 г. не вошло. Журнал, где было напечатано «Мы идем!», конфисковали. См. об этом предисловие к пятому изданию (стр. 23).

Машина

Гудки (стр. 98). Напечатано в журн. «Металлист», 1918, № 2, стр. 4, подпись: И. Дозоров. Вошло во все издания. Написано в 1913 г. См. об этом предисловие к пятому изданию (стр. 28).

Ворота (стр. 99). Напечатано в журн. «Юный пролетарий», 1918, № 1(3), стр. 8, под заглавием «Вход», подпись: И. Дозоров. Вошло во все издания.

Башня (стр. 102). Впервые напечатано в журн. «Металлист», 1917, № 4, стр. 4. Вошло во все издания. Замысел «Башни» возник в Париже при виде Эйфелевой башни и других гигантских построек. См. об этом предисловие к пятому изданию (стр. 23).

Рельсы (стр. 107). Напечатано в «Правде труда», № 8, 19 сентября 1913 г., с подзаголовком «Думы на паровозе», подпись: И. Дозоров. В издании 1919 г. (Пг.) и 1921 г. не вошло. По словам автора, «Рельсы» были написаны в 1913 г. «...во время знаменитой айвазовской забастовки на железнодорожных путях, во время массовок на окраинах Удельной» («Правда», № 99, 5 мая 1927 г.).

Кран (стр. 109). Вошло во все издания.

Балки (стр. 113). Вошло во все издания.

Молот (стр. 118). Вошло во все издания.

«Лига пролетарской культуры». Здесь использовано название реальной организации русских литераторов-рабочих, образованной в 1910 г. в Париже. В лигу входили А. В. Луначарский, Ф. И. Калинин, П. К. Бессалько, М. П. Герасимов, А. К. Гастев и др.

«Мы посягнули» (стр. 129). Напечатано в «Сборнике пролетарских писателей», под ред. М. Горького, А. Сереброва и А. Чапыгина. «Парус», Пг., 1917, стр. 111, без последнего абзаца, подпись: И. Дозоров. Вошло во все издания.

«Мы вместе» (стр. 132). Напечатано в журн. «Объединение», 1918, №№ 1—2, стр. 19, подпись: И. Дозоров. Вошло во все издания.

Экспресс (стр. 135). Напечатано в журн. «Сибирские записки», 1916, № 1, стр. 3, с подзаголовком «Сибирская фантазия», подпись: Дозоров.

В издании 1919 г. (Пг.) и 1921 г. не вошло. Написано под впечатлением пребывания в Сибири. См. об этом предисловие к пятому изданию (стр. 27). «Экспресс», по свидетельству родных, был одним из любимых произведений Гастева, увлеченного идеями преобразования Сибири.

Ново-Николаевск — старое название Новосибирска.

Обдорск — старое название Салехарда, ныне центра Ямало-Ненецкого национального округа, Тюменской обл.

Нарвик — незамерзающий порт на севере Норвегии.

Эллинг — помещение, в котором строится корпус судна.

Лэбел — клеймо, ярлык (от англ. label).

Бодайбо — город на р. Витим, центр золотопромышленного района.

Принудительный денежный курс — официальный валютный курс, устанавливаемый буржуазным государством часто в период кризиса, когда валютные курсы теряют связь с золотом и становятся в значительной мере искусственными.

Гижигинск — вымышленный город на берегу Гижигинской губы — залива Охотского моря.

Город Беринга — вымышленный город на берегу Берингова пролива.

Моя жизнь (стр. 153). Вошло во все издания. На такие произведения, как «Моя жизнь» и следующее «Мы всюду», наложила отпечаток скитальческая жизнь автора. См. об этом предисловие к пятому изданию (стр. 23).

Мы всюду (стр. 156). Вошло во все издания.

Наш праздник (стр. 159). Вошло во все издания.

Ответьте срочно! (стр. 163) Публикуется впервые с автографа, хранящегося в архиве

А. К. Гастева. Точная датировка не установлена. Гастев, очень пунктуальный в хронологии, поместил этот отрывок в архивную подшивку между 1919 и 1922 гг. В его содержании отчетливо слышится основной мотив гастевского творчества — «рабочий удар». Здесь ясно виден и переход от поэтизации рабочего удара к призыву точно и научно его анализировать (ср. помещенные в настоящем сборнике статьи Гастева). Все это позволяет отнести отрывок к периоду создания ЦИТа, т. е. к 1921—1922 гг. (Эта же идея «трудового чемпионата» провозглашается в опубликованной 3 января 1923 г. статье «Восстание культуры» — см. наст. сборник.).

Ворота земли

Оратору (стр. 164). Напечатано в журн. «Объединение», 1918, №№ 1—2, стр. 3, подпись: И. Дозоров. Вошло в издания 1919 г. (Харьков), 1923 и 1926 гг.

Встреча (стр. 166). Вошло в издания 1919 г. (Харьков), 1923 и 1926 гг.

Ноша (стр. 169). Вошло в издания 1919 г. (Харьков), 1923 и 1926 гг.

Чудеса работы (стр. 170). Напечатано в журнале «Пролетарская культура», 1918, № 2, стр. 29. Вошло в издания 1919 г. (Харьков), 1923 и 1926 гг.

Манифестация (стр. 176). Напечатано в журн. «Грядущее», 1918, № 9, стр. 5. Вошло в издания 1919 г. (Харьков), 1923 и 1926 гг.

Арка в Европе (стр. 183). Напечатано в «Известиях временного рабоче-крестьянского правительства Украины и Харьковского Совета рабо-

чих депутатов», № 64, 9 марта 1919 г. Вошло в издания 1919 г. (Харьков), 1923 и 1926 гг.

Выходи (стр. 187). Вошло в издания 1919 г. (Харьков), 1923 и 1926 гг.

Слово под прессом

Пачка ордеров (стр. 190). Впервые напечатано отдельным изданием — «Пачка ордеров». Рига, 1921 г. Вошло в издания 1923 и 1926 гг. О художественной задаче «Пачки ордеров» автор говорит в предисловии к пятому изданию (стр. 29). «Пачка ордеров» была отмечена рецензией Б. Арватова в журнале «Лэф», 1923, № 1.

ВОССТАНИЕ КУЛЬТУРЫ

В основу настоящего раздела сборника положены главным образом статьи Гастева из книг «Юность, иди!» (ВЦСПС, М., 1923), «Восстание культуры» (Изд-во «Молодой рабочий» при Центральном Комитете КСМУ, Харьков, 1923) и «Как надо работать. Практическое введение в науку организации труда» (ВЦСПС, М., 1927). Из этих же книг взяты лозунги, стоящие в нижней части страниц; эпитафии к отдельным статьям поставлены А. Гастевым.

Из произведений Гастева, содержащих изложение его взглядов по вопросам связи культуры, народного образования и производства, отметим: «Индустриальный мир» (Харьков, 1919), «Снаряжение современной культуры» (ГИЗ Украины, Харьков, 1923), «Время» (ВЦСПС—ЦИТ, М., 1923), «Новая культурная установка» (ВЦСПС—ЦИТ, М., 1923 и 1924), «Трудовая культура» (речь на II сессии ЦИК СССР IV созыва, журнал ЦИТа «Установка рабочей силы», 1927, №№ 9—10, стр. 1—3).

Поставим памятник... (стр. 198). Плакат-заставка из книги «Трудовые установки» — основного научного труда Гастева, в котором изложена ме-

тодика ЦИТа по обучению трудовым приемам. В книгу «Юность, иди!» не входил.

Печатается по тексту, помещенному на шмуц-титule «Трудовых установок», ВЦСПС, М., 1924.

Юность, иди!

Готовность и воля (стр. 199). Текст печатается по изданию «Юность, иди!», 1923.

Снаряжайтесь, монтеры! (стр. 201). Текст печатается по изданию «Юность, иди!», 1923.

Восстание культуры

Тексты статей «Бьет час», «Народная выправка» и «Восстание культуры» печатаются по изданию «Восстание культуры», Харьков, 1923.

Бьет час (стр. 233). Напечатано в «Правде», № 122, 3 июня 1922 г.

Третье-элементская неряшливость. Здесь — в смысле буржуазно-интеллигентская.

Народная выправка (стр. 245). Напечатано в «Правде», № 128, 11 июня 1922 г.

Верден — город и крепость во Франции, где во время первой мировой войны происходили тяжелые кровопролитные сражения между французскими и немецкими войсками.

«Гимнастика Мюллера» — система гимнастических упражнений типа утренней зарядки, получившая распространение в начале XX века в популярных изданиях И. Мюллера «Пять минут в день» и др.

Восстание культуры (стр. 255). Напечатано в «Правде», № 1, 3 января 1923 г.

Надо учесть вдохновенную интуицию Монтеessori. Монтеessori Мария (1870—

1952) — итальянский педагог, создала специальную методику так называемого психофизического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. Большое место в системе Монтессори занимает развитие мускульной памяти с помощью специально разработанных упражнений и снарядов. Идеи Монтессори оказали большое влияние на формирование цитовской методики производственного обучения (см. «Трудовые установки» А. К. Гастева. ЦИТ, М., 1924, стр. 72—74).

Как надо работать

В предисловии к первому изданию книги «Как надо работать. Как изобретать» Гастев рассказывает, что в ее основу были положены правила «Как надо работать», сформулированные им впервые на Первой Всероссийской инициативной конференции по научной организации труда в январе—феврале 1921 г. Но истоки «Правил» можно проследить и раньше. Они относятся к 1917—1918 гг., когда во Всероссийском союзе рабочих-металлистов, секретарем которого был в то время Гастев, развернулась работа по упорядочению и рационализации системы производственных тарифов и норм. Уже тогда у Гастева обозначилось стремление к точным рекомендациям-предписаниям, характерное для всей последующей деятельности ЦИТа (правила «Как надо работать» под заголовком «Наша практическая методология» были напечатаны и в первом, программном номере цитовского журнала «Организация труда»). Из этой же работы в Союзе металлистов выросла и первоначальная цитовская проблематика.

В 1922 году правила были напечатаны в «Известиях» и перепечатаны в периферийных изданиях, периодических и в виде брошюр (Одесса, Пермь, Архангельск). Отдельным изданием книга вышла через год — «Как надо работать. Как изобретать». ЦИТ. М., 1922. Следующее, расширенное издание (ВЦСПС, М., 1924) снабжено подзаголовком «Прак-

тическое введение в науку / организации труда». Окончательный вид книга приобрела в третьем, дополненном и переработанном издании: «Как надо работать. Практическое введение в науку организации труда». ВЦСПС, М., 1927. В это издание в числе прочих материалов вошла программная статья «Социальное знамя ЦИТа», ранее печатавшаяся в качестве введения к книге Гастева «Установка производства методом ЦИТ. Органическое внедрение» (изд. 1925 и 1926 гг.).

Тексты печатаются по третьему изданию книги «Как надо работать».

Как надо работать (стр. 269). Правила «Как надо работать» были выпущены ЦИТОм массовым тиражом в виде плаката и в виде листовки для расклейки в цехах фабрик и заводов, а также в учреждениях. Отдельные пункты правил вывешивались в качестве лозунгов.

Как изобретать! (стр. 273). Вошло в издания «Как надо работать» 1924 и 1927 гг. В издании 1922 г. текст до подзаголовка «Как научиться изобретать» отсутствовал.

Джилбрет (Гилбрет) Фрэнк Б. (1868—1924)— американский исследователь в области организации труда, уделявший особое внимание рационализации трудовых движений. Исследования Гилбрета, проводившиеся им вместе с его женой Лилиан Гилбрет, получили освещение и развитие в работах Центрального института труда («Организация труда», 1924, № 5, стр. 51—52).

Форд Генри (1863—1947) — капиталист, основатель известной американской автомобильной фирмы. Практические нововведения на фордовских заводах (конвейер, пооперационный контроль и др.) знаменовали переход к новым прогрессивным (в производственном отношении) формам организации труда при капитализме. Если имя Тейлора связывалось с «идеями НОТ» (научной организации труда), то имя Форда — с «НОТ в действии». ЦИТ поддерживал с компанией Форда деловую переписку.

ску (см. журнал ЦИТа «Организация труда», 1928, № 2, стр. 55—57; см. также статью Гастева «Маркс и Форд». «Установка рабочей силы», 1927, №№ 9—10, стр. 4—7).

Дальнейшее развитие мысли Гастева получили прежде всего в практической работе возглавляемых им Центрального института труда, акционерного общества (треста) по подготовке рабочей силы «Установка», Совета по научной организации труда при Наркомате РКИ и Всесоюзного комитета стандартизации при Совете труда и обороны.

С 1917 по 1938 гг. Гастев много и постоянно печатался в периодической печати — в редактировавшихся им журналах «Организация труда», «Установка рабочей силы», «Вестник стандартизации», сборнике «Конструктор-изобретатель-установщик», изданиях по технике и экономике, а также в газетах «Правда», «Известия», «Труд», «За индустриализацию», «Техника», «Комсомольская правда» и др.

Из книг Гастева кроме уже упоминавшихся «Трудовых установок» и «Установки производства методом ЦИТ» назовем: «Профессиональные союзы и организация труда» (Изд-во Ленингр. губ. совета профсоюзов, 1924), «Плановые предпосылки» (изд-во НК РКИ, М.—Л., 1926), «Нормирование и организация труда» (ВЦСПС, М., 1929) и «Методологические предпосылки обоснования, разработки и классификации стандартов» (Изд-во «Стандартизация и рационализация», М., 1932).

Р. Шацева

* * *

Дополнительных комментариев требуют публицистические статьи А. Гастева (которые, по сути дела, впервые знакомят современного читателя с идеями создателя ЦИТа в области организации труда) и необычное, не укладывающееся в привычные жанровые определения «Слово под прессом» («Пачка ордеров»).

О гастевских стихотворениях в прозе говорится в предисловии З. Паперного к этой книге. «Пачка ордеров», составляющая последний и наиболее поздний раздел двух прижизненных изданий «Поэзии рабочего удара» (1923 и 1926 гг.) — закономерное продолжение и развитие поэзии Гастева. И так же как «стихопроза» Гастева, его вдохновенные гимны труду и тем, кто трудится, подводят нас к заключительному этапу его поэтического творчества — к «Пачке ордеров», так же и это его произведение подготавливает к публицистике Гастева.

«Пачка ордеров», этот деловитый перечень ордеров-указаний, в которых и без того обычно краткий Гастев сжимает слово «под прессом», — стоит на рубеже высокого искусства, с его прозрением, и современной науки, с ее поэзией точно сбывающихся фантазий.

Здесь начинается Гастев-практик, Гастев-директор ЦИТа. Отсюда естествен для читателя переход, который совершается в композиции данного сборника и отражает переход, происшедший в жизни Гастева, — к живой организаторской работе, чей пафос нашел публицистическое отражение в статьях Гастева.

(Об этой эволюции своего творчества Гастев подробно рассказывает в предисловиях к пятому и шестому изданиям «Поэзии рабочего удара».)

Что же такое «Пачка ордеров»?

По форме — это действительно «слово под прессом», т. е. очень краткие и при всей их фантастичности очень конкретные, деловые, по замыслу автора, указания типа рабочих инструкций.

По содержанию — это демонстрация неведомого еще нам всемогущества человека будущего, это, как говорит Гастев, «торжественно-легендарная догадка о грядущем реве событий».

Человек дает указания материкам. Как величайший дирижер, он командует: «Азия — вся на ноте ре. Америка — аккордом выше. Африка — си-бемоль». Человек протягивает «электроструны к земному центру» и заставляет солировать циклоны и вулканы. В этой гастевской планетарной сим-

фонии угадываются контуры реального и недалекого могущества людей.

Человек выключает солнце «на полчаса» и пишет на ночном небе «20 километров слов». Потом он спокойно приказывает: «Включить солнце». И зовет разгоряченное человечество: «Слушайте спортсменов, в их теле поэзия».

Человек издевается над узколобыми мещанами, не видящими поэзии будущего. Категоричен и жестоко ироничен ордер 05: «Инженерьте обывателей. Загнать им геометрию в шею. Логарифмы им в жесты. Опакостить их романтику. Тонны негодования. Нормализация слова от полюса к полюсу».

«Пачка ордеров» проникнута романтикой тех дней, которые Гастев мог только предвидеть, предчувствовать. Некоторые ордера звучат, казалось бы, странно. Видимо, так же странно звучали бы для наших предков те приказания, которые мы отдаем, например, сегодня по радио с земли на космические ракеты.

В 1921 году, когда вышла «Пачка ордеров», только причудами ее автора можно было объяснить такой, скажем, «ордер»: «Мозго-машины-погрузка. Кино-глаза-установка. Электро-нервы-работа. Артерио-насосы, качайте».

А сегодня мы уже многое знаем об успехах кибернетических «мозго-машин», и нам стало уже привычным слышать от крупнейших ученых, что в принципе нет никаких границ для автоматизации интеллектуальной деятельности любого вида.

«Пачка ордеров» — это поиск Гастева, разведка его в сфере науки и в сфере искусства. Гастев стремится показать, что в художественное творчество «надо идти вооруженным не только складом различного рода поэтических метафор, но с резцом конструктора и с ключом монтера и хронометром».

Щедро черпая из кладезя поэзии, Гастев в своей публицистике еще чаще обращается к резцу конструктора и ключу монтера.

«Слово под прессом» — безудержные гипотезы архитектора вселенной, трезво высчитывающего

силу звездного притяжения и вес секунд. Статьи Алексея Гастева — это призыв к мечтателям, мечты которых рождены революцией, обратить свою энергию не на Галактику, даже не на всю земную планету, а на одну деревню, один завод, одну волость. «Per aspera ad astral» — Через трудности к звездам, через трудности и невзгоды первых лет Октября... Путь от первых декретов до первых ракет был нелегок: и в начале этого пути, и сегодня мысли Гастева о практической организации и целенаправленности труда важны и актуальны. За советами «как надо работать», за доскональными рекомендациями («не браться за работу, пока не приготовлен весь рабочий инструмент» и др.) — стоит тот же Гастев, который мечтал о скорости «миллион веков минута».

Проблематика статей Гастева, объединенных в разделе «Восстание культуры», связана с реальными трудностями, противоречиями и созидательными задачами первых лет революции.

Публицистика Гастева испытала прямое и глубокое воздействие ленинских идей. Статьи Гастева построены на пропаганде и конкретизации ряда положений, выдвинутых Лениным после победы Октябрьской революции. «Политике мы, несомненно, научились, здесь нас не собьешь, тут у нас база имеется, — говорил Ленин в докладе на VIII Всероссийском съезде Советов. — А с хозяйством дело обстоит плохо. Самая лучшая политика отныне — поменьше политики. Двигайте больше инженеров и агрономов, у них учитесь, их работу проверяйте, превращайте съезды и совещания не в органы митингования, а в органы проверки хозяйственных успехов, в органы, где мы могли бы настоящим образом учиться хозяйственному строительству».

Учиться хозяйственному строительству — в этих ленинских словах пафос публицистики Гастева. Логика размышлений Гастева — ученого и организатора труда становится особенно понятной именно в свете гениально простых и мудрых призывов Ленина, призывов, услышан-

ных и подхваченных Гастевым. «Поменьше политической трескотни, — писал Ленин в 1918 году в статье «О характере наших газет». — Поменьше интеллигентских рассуждений. Поближе к жизни. Побольше внимания к тому, как вся рабочая и крестьянская масса на деле строит нечто новое в своей будничной работе. Побольше проверки того, насколько коммунистично это новое».

Центральное место в статьях Гастева находит выдвинутая Лениным задача воспитания масс в духе «новой дисциплины объединенного труда». Гастев становится страстным пропагандистом ленинских мыслей о том, что поколение, которое «будет жить в коммунистическом обществе, должно все задачи своего учения ставить так, чтобы каждый день в любой деревне, в любом городе молодежь решала практически ту или иную задачу общего труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую», — как об этом говорил Ленин в речи на III Всероссийском съезде РКСМ.

Современный читатель статей Гастева ясно увидит, что именно этими идеями Ленина вдохновлялся создатель ЦИТа. Талантливый, устремленный к одной цели человек, горячо и бескорыстно преданный делу всей своей жизни, Гастев вновь и вновь говорит о культуре труда, о «народной выправке», сноровке, о трудовом энтузиазме молодых хозяев России. Порой впадая в противоречия, иногда «агитационно» упрощая любимую мысль, Гастев не устает звать людей к труду и строительству «новой невиданной жизни».

В своих статьях Гастев выступает перед нами и как ученый-теоретик и как вдохновенный поэт — пропагандист идей научной организации труда. Взгляды Гастева образуют целостную систему, единую по своей концепции и целенаправленности.

«Восстанием культуры» называет Гастев тот новый этап, в который вступила революция. «Наступила эпоха созидания, работы», — говорит Гастев в статье, названной призывно: «Бьет час». «Мы дошли уже до границы, мы накануне новой эпо-

хи, когда придется говорить не день, не два, даже не год, а десятилетия, и не только говорить, а делать новую, невиданную до сих пор культуру — культуру трудовую», — это из статьи «Народная выправка».

Один из тех, кто активно участвовал в разрушении старого мира, большевик Алексей Гастев говорит о том, что ураган революции «не только сохранил свой организующий кратер, но стал обладать невероятным голосом призыва, энергии, воли» и «на все эти девять тысяч верст от Петрограда до Владивостока он режет слова:

К ударам, к работе!

Вот почему герои гастевских статей — это люди труда: «мастер, стоявший на посту в мастерской», «огородник, взрастивший в эти годы кукурузу в районе Москвы и помидоры в Вологодской губернии»...

В соответствии с ленинскими указаниями, Гастев определяет главную задачу так: «Взять торжественный клочок народного пафоса, всю дерзость революции, пропаять их выверенным колебанием, ровным нажимом».

«Бездарные хористы поют о машине...» — высмеивает Гастев поэтов, которые продолжали отвлеченные славословия «железу» и «машине», разводя «глупую романтику о прелестях машинизма» в годы, когда требовалось слово-действие, слово-призыв. («Товарищи, дайте новое искусство — такое, чтобы выволочь республику из грязи», — писал примерно в это же время Маяковский).

И в самой революции Гастев подчеркивает то, что она, в отличие от стихийных бунтов, была начата «с долготлетней методической подготовкой» и что во главе ее встал «класс, отмеривший свои надежды на столетие вперед».

Так возникает одно из любимых слов Гастева, в которое он вкладывает смысл революционного переустройства жизни. Это слово — «монтаж»: «Здравствуй весело, боевой наш, железный, полнокровный, уверенный монтаж!»

Так рождается клич к советской юности — отправиться «в большой поход по проселочным дорогам, по лесам, деревням, неразбуженным болотам и всюду строить новое жилье от избы до небоскреба, поселить говор инструмента от топора до мотора и наполнить Россию культурным монтажом».

Правда, Гастев называет юных строителей «робинзонами», употребляя это имя как синоним предприимчивости и трудолюбия. «Надо объявить мобилизацию миллиона юных робинзонов», — говорит Гастев. Он призывает возвеличить «гениальный образ Робинзона». Читатель увидит, что Гастев зовет не к повторению «робинзонады», что автору статей о «восстании культуры» важны не просто трудолюбие и предприимчивость, а эти качества, поставленные на службу социалистическому строительству.

Это слово в статьях Гастева подразумевается всегда и во всех случаях, хотя автор, в соответствии с поставленной им перед собой задачей, акцентирует наше внимание не на политической, а на деловой, организационной стороне вопроса.

И когда Гастев пишет, что наша страна «будет нсвой, цветущей Америкой», он безусловно имеет в виду, что социалистический, коммунистический путь развития позволит Стране Советов обогнать Америку. Когда Гастев говорит о движении бойскаутов, он имеет в виду не западное молодежное движение бойскаутов, которое растило натренированных, послушных буржуазии молодчиков, а создание массовых советских организаций, воспитывающих в нашей молодежи «смелость, расторопность», «гимнастическую настороженность» и «ежеминутную готовность к действию». Гастев подчеркивает, что в западном бойскаутизме неприемлемы его «ханжески-патриотические и поповские элементы». Воспитание «энергии, ловкости и мужества» молодежи Гастев мыслит на иных, чем в бойскаутизме, на коммунистических идейных основаниях.

Точно так же под словом «колонизация», которое Гастев часто употребляет, он, разумеется, понимает не «покорение чужих территорий», не приобретение колониальных владений, а освоение собственных территорий, «автоколонизацию», как говорит он о великом социалистическом строительстве на бескрайних неосвоенных землях Советской страны, тогда еще только начинавшемся.

Когда Гастев пишет: «Имейте в своем распоряжении два рубля золотом и начните с них большое дело с верой в успех», — он конечно же имеет в виду не новоявленных русских бизнесменов, нэпманов. Гастев призывает советскую молодежь учиться деловитости, оборотливости, смекалке, которые нужны не для построения собственного маленького благополучия, а для построения социализма.

Давая дельные, научно обоснованные советы, как работать, как организовывать труд, как начать «монтаж» культуры, — Гастев считал, что «чисто техническое понятие монтажа надо расширить, привести в него социальный момент».

Этот момент, эту социально-политическую акцентировку идей Гастева в области строительства новой культуры важно учитывать также и потому, что слово «культура» употребляется Гастевым в определенном, узком смысле.

Гастева в наибольшей мере занимало строительство материальной культуры. Культурный же рост человека интересовал его прежде всего как рост и воспитание деловых качеств человека-работника. Обращая главное внимание именно на эти стороны культурного строительства, справедливо стремясь привлечь внимание советской общественности к вопросам научной организации труда, Гастев полемически заострял некоторые положения своих статей, невольно суживал понимание культуры, заявляя, что «современная культура... это прежде всего сноровка...» (Или: «Ловкость... вот что должно быть наиважнейшей идеей культуры».)

Подобные формулировки возникали у Гастева как реакция на черты пассивности, апатии и косно-

сти, насаждавшиеся в людях веками самодержавно-крепостнического строя. Гастев верил, что революция перевернет эти «пласты ленивых залежей», возьмет «приступом Россию изнутри» и уничтожит «плесень и отсталость» уходящих лет. Внимание, наблюдательность, настороженность, активность — эти особенности нового человека Гастев противопоставлял «ленивому созерцательному розодействию, лежебокству». Гастев преувеличивал черты отсталости и дикости старой России («страна, чуть вышедшая из стадии кочевья» — это сказано несправедливо по отношению к стране, построившей хотя бы Киев, Москву и Петербург). Но когда он запальчиво восклицал: «Мы поставим же, наконец, на колеса эту телегу, которая зовется Россией», — то это был голос русского, советского патриота, вверившего в победу социализма.

В борьбе с пережитками прошлого, в борьбе с равнодушием и обломовщиной Гастев и выдвигал формулировки, которые на первый план в новой культуре ставили энергию, волю, действие. «Действовать! Это самая характерная черта культуры, которую нам надо создать», — писал Гастев. И для нас очевидно сегодня, что такое определение страдает упрощенностью, ибо оно оставляет в стороне главное: гуманистические цели и содержание нашей культуры. Понятно, что печать полемической заостренности лежит и на категорическом утверждении Гастева, будто культура — это «не грамотность и не словесность» и что «не учитель, не миссионер, не оратор, а монтер» — вот кто, оказывается, носитель культуры в нашей стране.

Здесь — известная односторонность в понимании культурной революции, которая должна была привести к освоению всех интеллектуальных ценностей, накопленных человечеством.

Современный читатель Гастева поймет истоки отдельных неточных или ошибочных утверждений в его статьях, отделит эти частные неточности и ошибки от плодотворных и перспективных мыслей ученого-революционера. Иронические замечания Гастева по адресу интеллигенции и ее пристрастия

к отвлеченному философствованию не помешают читателю увидеть в статьях Гастева образ замечательного русского советского интеллигента. В результате перед читателем откроется увлекательный мир идей научной организации труда, культуры труда. Эти идеи изложены Гастевым кратко, динамично, с необычайной убежденностью, так что даже стиль статей демонстрирует нам тот тип работника и борца, за который ратует Гастев.

Острая наблюдательность, любовь к трудовым орудиям («возвеличить инструменты»), воспитание тела и школа трудовых движений, искусство работать с наименьшей затратой сил, учет психологии работающего, тренировка, экономия движений — вот некоторые вопросы, которые ставит Гастев в связи с тем, что он определяет образно и точно: «народная выправка».

«Дисциплина, инициатива, работа» — такие пароли называет Гастев для молодежного движения, которое должно быть «в авангарде возрождения нашей страны». Воспитание молодежи в труде и спорте, соединение науки и труда в процессе воспитания, синтез точности и смелости в работе — по этим и многим другим проблемам Гастевым высказаны глубокие научные соображения. «Мы — вожаки огромной миллиардной массы людей Европы и Азии», — писал Алексей Гастев, создававший, что «в то же время мы находимся в неслыханной схватке с технически вооруженным культурным врагом — Европой и Америкой», с капитализмом, который будет побежден духовной и материальной созидательной энергией социализма.

Работы Гастева в области научной организации труда сыграли важную роль в строительстве социализма в нашей стране, в мирном экономическом соревновании с капитализмом. Но они живут и сегодня, а еще актуальнее и нужнее будут завтра. Характерно, что в наши дни идеи научной организации труда (в том числе принципы руководителя ЦИТа) становятся предметом все более пристального внимания научной общественности (см., например, статью академика А. И. Берга

«В. И. Ленин и научная организация труда». «Правда», 24 октября 1962 г.).

Путь Гастева-ученого в науке будет виден из будущего собрания его научных трудов. Но уже настоящий сборник сможет осветить читателю путь в науку Гастева — революционера-поэта, которого Николай Асеев назвал «Овидием горняков, шахтеров, слесарей».

И кому покажется слишком жестким слово Гастева, пусть вспомнит, что в одной из своих фантазий Гастев мечтает «через всю Европу» провести «аллею с вишневыми садами по бокам». Гастев и... Чехов. Неожиданно? Они были поэтами, мечтателями, людьми будущего.

С. Лесневский

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Воззвание Всеукраинского совета искусств (фотография между стр. 208 и 209). Напечатано в начале января 1919 г. в Харькове в виде отдельной листовки, перепечатано в приложении к «Известиям временного рабоче-крестьянского правительства Украины и Харьковского Совета рабочих депутатов», № 80, 30 марта 1919 г. — «Литературно-художественная неделя», № 5. Воззвание подписано членами организованного в начале 1919 г. в Харькове при Наркомпросе Украины «Всеукраинского совета искусств», во главе которого стоял Гастев. Совет ставил своей целью «направлять всю художественную жизнь края» (те же «Известия», № 31, 29 января 1919 г.). Под руководством совета находился Литературный комитет и секции: художественная, театральная, музыкальная. Первоначальный текст воззвания принадлежит Гастеву, окончательная редакция — А. К. Гастеву и Г. Н. Петникову (сообщено Г. Н. Петниковым). Воспроизводится с экземпляра листовки, хранящегося в личном архиве Гастева.

Воззвание Литературного комитета Всеукраинского совета искусств (фотография между стр. 224 и 225). Напечатано в «Известиях временного рабоче-крестьянского правительства Украины и Харьковского Совета рабочих депутатов», № 30, 28 января 1919 г. (перепечатано в приложении «Литературно-художественная неделя», № 1, 2 марта 1919 г.). Текст воззвания составлен всеми подписавшими его лицами по инициативе Гастева (сообщено Г. Н. Петниковым). Воспроизводится с текста «Известий».

Р. Шацева

СОДЕРЖАНИЕ

3. Паперный. «Волево слово»	3
---------------------------------------	---

ПОЭЗИЯ РАБОЧЕГО УДАРА

Предисловие к пятому изданию	23
Предисловие к шестому изданию	29
Мы растем из железа	35

Романтика

В трамвайном парке	37
Звоны	59
Осенние тени	63
Иван Вавилов	67
Сильнее слов	87
Я люблю...	92
Мы идем!	94

Машина

Гудки	98
Ворота	99
Башня	102
Рельсы	107
Кран	109

Балки	113
Молот	118
«Мы посягнули»	129
«Мы вместе»	132
Экспресс	135
Моя жизнь	153
Мы всюду	156
Наш праздник	159
Ответьте срочно!	163

Ворота земли

Оратору	164
Встреча	166
Ноша	169
Чудеса работы	170
Манифестация	176
Арка в Европе	183
Выходи	187

Слово под прессом

Пачка ордеров	190
-------------------------	-----

ВОССТАНИЕ КУЛЬТУРЫ

Юность, иди!

Готовность и воля	199
Снаряжайтесь, монтеры!	201

Восстание культуры

Бьет час	233
Народная выправка	245
Восстание культуры	255

Как надо работать

Как надо работать	269
Как изобретать?	273

ПРИМЕЧАНИЯ <i>Р. Шацовой и С. Лесневского</i> . . .	281
--	-----

К иллюстрациям	306
--------------------------	-----

Гастев Алексей Капитонович

ПОЭЗИЯ РАБОЧЕГО УДАРА

М., „Советский писатель“, 1964, 312 стр.

Редактор С. С. Лесневский

Художник Н. Коньшева

Худож. редактор В. В. Медведев

Техн. редактор В. Г. Комм

Корректоры Л. Н. Морозова

и С. С. Потрессова

**Сдано в набор 7/V 1963 г. Подписано
в печать 27/IV 1964 г. А 02068. Бумага**

70 × 90¹/₂. Печ. л. 9³/₄ + 2 вкл. (11,58).

Уч.-изд. л. 9,37. Тираж 10 000 экз. Зак. № 1031.

Цена 30 к.

Издательство „Советский писатель“

Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10

Типография имени Володарского Лениздата

Ленинград, Фонтанка, 57

Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Москва К-9, Б. Гнездииковский пер., д. 10, издательство «Советский писатель».





«Когда гудят утренние гудки на рабочих окраинах, это вовсе не призыв к неволе. Это песня будущего», — так писал Алексей Гастев, слесарь, большевик-подпольщик, поэт и ученый. Песнями будущего, которое предвидел, предчувствовал Гастев, были его стихи, рассказы, публицистические статьи. Расцвет поэтического творчества Гастева относится ко второму десятилетию XX века. Впоследствии он отошел от поэзии, отдавшись целиком работе в области организации производства, возглавив созданный им ЦИТ (Центральный Институт Труда). Эмблема ЦИТа — рука, вздымающая молот, — может быть эмблемой всей «Поэзии рабочего удара». Гастев был романтиком особого склада — романтиком организующей воли и творческого порыва. Он видел коммунистическую Россию, люди которой устремятся к «соседним, пока не разгаданным, чуждым планетам».

Произведения Алексея Гастева предвосхитили дни, когда «гордо над миром взвывается... первое чудо вселенной, бесстрашный работник — творец-человек».

30 к.